

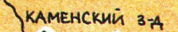
ISSN 0134-2411

УРАЛЬСКИЙ

Снеговик

2 '89





Статью Александра Старикова «КАМЕННЫЙ ПОЯС РОССИИ» читайте на стр. 2



В НОМЕРЕ:

А. Стариков КАМЕННЫЙ ПОЯС РОССИИ	2
Ф. Авдеев КОНЕЦ БАНДЫ ШТЕХАНА	4
Н. Зубьяков КРЫЛАШКА	6
Л. Голубев ПУШКАРЕНОК	7
Ю. Липатников РОССИЯ, ВЕРЬ!	8

Л. Осинцев ВСТРЕЧИ С КРУПСКОЙ	10
--	----

В. Бердинских ПАМЯТНАЯ ФОТОГРАФИЯ	11
--	----

А. Шамаков «МОИМ ДОЧЕРЯМ ПОСВЯЩАЮ»	12
---	----

А. Лейфер БОТАНИК, ПЕДАГОГ, ПОЭТ...	12
--	----

И. Бакулин КОНЕК-ГОРБУНОК	13
--	----

В. Сибирев ПРИ РОВНОМ СВЕЧЕНИИ МИРНЫХ НЕБЕС. Стихи	14
---	----

М. Осоргин ВРЕМЕНА. Продолжение. Глава 2. ЮНОСТЬ	15
---	----

Е. Клещин ЗАНЕСЕН ТОПОР НАД ПАРМОЙ	28
---	----

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «АЭЛИТА»

В. Малов ПОД СОЛНЦЕМ МАТРОСА СЕЛКИРКА. Фантастическая повесть. Окончание	31
---	----

А. Больных ВИДЕТЬ ЗВЕЗДЫ. Повесть. Начало	39
--	----

В. Пашин В АМЬЕНЕ, У ЖЮЛЯ ВЕРНА	47
--	----

А. Чуманов ВЕТЕР СЕВЕРО-ЮЖНЫЙ, ОТ СЛАБОГО ДО УВЕРЕННОГО... Повесть. Окончание	49
--	----

А. Матвеев РУССКИЙ СЕВЕР	70
---------------------------------------	----

А. Артамонов СЛОВНО МЕЛОЧЬ ПО РУКАМ. Стихи	73
---	----

Т. Ломакина «СЪЕМНАЯ» ДЕВОЧКА	73
--	----

МИР НА ЛАДОНИ	76
-------------------------	----

А. Семенов, И. Беляев ЭКЗОТЫ НА ОКНАХ. Начало	77
--	----

Редакционная коллегия:
Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Евгений АНАНЬЕВ,
Виктор АСТАФЬЕВ,
Виталий БУГРОВ,
Муса ГАЛИ,
Юний ГОРБУНОВ,
Герман ИВАНОВ,
Сергей КАЗАНЦЕВ
(ответственный секретарь),
Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН,
Давид ЛИВШИЦ
(заместитель главного редактора),
Николай НИКОНОВ,
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Анатолий СЕМЕРУН,
Константин СКВОРЦОВ,
Аркадий СТРУГАЦКИЙ

Художественный редактор
Евгений ПИНАЕВ
Технический редактор
Людмила БУДРИНА
Корректор
Майя БУРАНГУЛОВА

Адрес редакции:
620219, г. Свердловск,
ГСП-353, ул. 8 Марта, 22-в
Телефоны отделов:
51-55-56 (писем,
молодежных проблем),
51-22-40 (секретариат),
51-09-71 (фантастики, прозы
и поэзии),
51-53-20 (науки и техники,
публицистики),
51-09-69 (краеведения)

Рукописи принимаются перепечатанными на машинке через 2 интервала, 60 знаков в строке, 28—30 строк на странице.

По вопросам подписки и доставки обращаться в районные отделения «Союзпечати».

Сдано в набор 09.11.88.
Подписано к печати 21.12.88.
НС 19449.
Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Бумага типографская № 2.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 8.82.
Уч.-изд. л. 11,9.
Усл. кр.-отт. 11,34.
Тираж 490 000.
(1-й завод: 1—250 000)
Заказ 450.
Цена 40 коп.
Типография издательства
«Уральский рабочий»
620219, г. Свердловск,
пр. Ленина, 49.

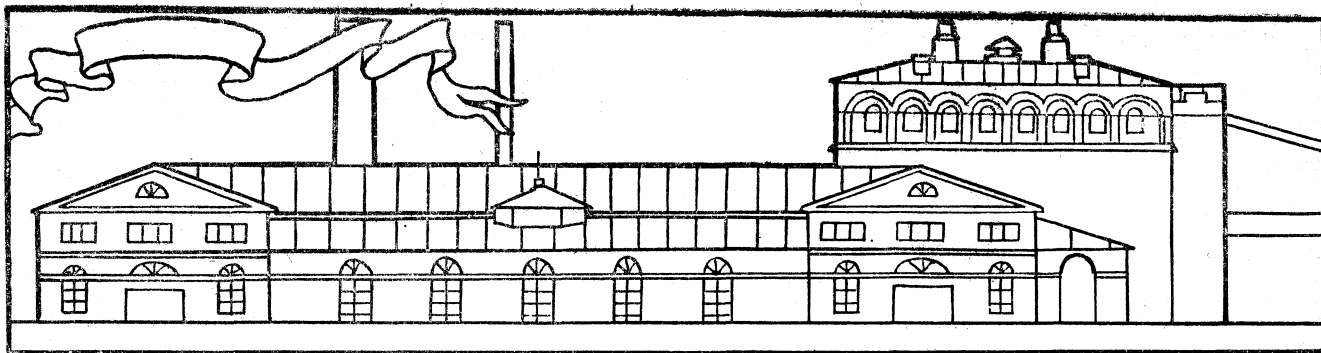
На 1-й стр. обложки фото
Владимира Борисова
«Уральская зима».

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



Каменный ПОЯС РОССИИ

Александр СТАРИКОВ,
зав. кафедрой архитектуры промышленных зданий
Свердловского архитектурного института

Рисунок Сергея Мальшева

В январе 1987 года бюро Свердловского обкома КПСС одобрило предложение Свердловского архитектурного института по созданию единой региональной экспозиции памятников природы, истории и культуры Урала «Каменный пояс». Экспозиция призвана объединить разрозненные и в большой мере случайные туристические и экскурсионные маршруты в стройную научно обоснованную систему идейно-патриотического и эстетического воспитания. Она в то же время должна стать основой комплексного сохранения и эффективного использования памятников и явиться базой интенсивного развития туристско-экскурсионного дела на Урале.

Опыт создания таких региональных экспозиций в нашей стране уже есть. Широко известно, например, «Золотое кольцо России» под Москвой, создается «Жемчужное ожерелье» вокруг Киева, «Пояс Славы» под Ленинградом и т. д. Несомненно, что «Каменный пояс России» должен не только располагать культурно-историческими ресурсами, но и обладать ярким своеобразием, служить источником притягательности и неослабевающего интереса. Другими словами — иметь свое лицо.

Даже поверхностный анализ ценностных качеств исторического и природного наследия края показывает, что такая непохожесть у нашей экспозиции есть. Если основу притягательности «Золотого кольца» и «Жемчужного ожерелья» составляют цепочки кремлей и монастырей — замечательных образцов древнерусского зодчества, то источник своеобразия историко-архитектурного наследия Урала являют прежде всего его старые металлургические заводы, рудники, шахты в окружении редкой по красоте природы горного края.

Это историческое богатство, не умаляя значения бывших административно-торговых центров — Сарапула, Уфы, Стерлитамака, Кургана, Верхотурья, Ирбита, — обладает собственным культурно-познавательным, идейно-воспитательным и эстетическим потенциалом, который мы подчас не замечаем, не используем, утрачиваем. За три века существования многие памятники обветшали, красота их скрыта позднейшими пристройками, искажена капитальными ремонтами. А многие объекты просто заброшены вдали от больших дорог. Мы же, не разглядев «Золушки», едем за экзотикой в Центральную Россию, Прибалтику, Западную Европу, скромно помалкиваем, не зная, о чем рассказать взамен, что показать у себя на родине.

Наши западные «коллеги» времени даром не теряют. Они в полной мере эксплуатируют исторические

достопримечательности промышленного характера, превратив их в места паломничества туристов разных стран. Известны, например, промышленные агломерации Англии, музеефицированные в виде экспозиций под открытым небом. Создаются такие экспозиции в ФРГ, во Франции. А об СССР складывается ложное впечатление как о стране, не имеющей глубоких исторических традиций и достижений в области промышленной технологии, производственной культуры, науки и техники. Упущение это приобретает уже политическую окраску, вредит делу национального самосознания и патриотического воспитания трудящихся.

Мы знаем, что еще в XVIII веке на Урале талантом, мастерством, упорным трудом рабочего класса и крепостного крестьянства был создан крупнейший в мире и передовой по технологии промышленный металлургический район, опираясь на который России удалось отстоять свою экономическую и политическую независимость, похоронить русский феодализм и капитализм, преодолеть разруху, одержать победу над фашизмом.

С уральской промышленностью тесно связаны успехи в технической революции, приоритет многих уральских ученых, техников, изобретателей. Кто не знает выдающихся имен: теплотехника И. И. Ползунова, механиков отца и сына Черепановых, плотинного мастера И. Е. Сафонова, горного деятеля, металлурга и геолога П. П. Аносова, великих ученых Д. И. Менделеева, А. С. Попова, А. П. Карпинского, А. Е. Ферсмана... Можно насчитать более 800 деятелей, поставивших отечественную металлургию и горное дело на передовые рубежи.

Известен вклад уральских заводов в историю отечественной культуры и прежде всего — архитектурно-градостроительной. В XVIII веке на Урале были построены первые в мире промышленные города, появилась новая отрасль творческой деятельности — промышленная архитектура, интенсивно развивались художественная обработка металла, драгоценных и поделочных камней, ювелирное искусство.

Крупные ансамбли промышленных, гражданских и жилых построек в стиле русского классицизма до сих пор формируют центры многих десятков уральских городов.

Не менее значимы и природные предпосылки создания экспозиции. Все горные заводы строились по берегам живописнейших уральских рек. В недрах края таятся залежи удивительного по красоте и разнообразию природного камня, снискавшего Уралу известность.

Памятники промышленной архитектуры, истории и техники расположены большей частью на территориях промышленных предприятий, которые располагают экономическими ресурсами для поддержания их в должном состоянии и активного использования.

Выше 70 процентов современных нам городов Урала были основаны на базе металлургических заводов. Значит, все культурно-промышленные ценности сосредоточены в городах, их исторических центрах, и к ним возможен доступ большинства населения области. Есть транспортная сеть, связывающая старые заводы в целые исторические «гирлянды», что позволяет организовать экскурсионные и туристические маршруты. Особенно большие возможности открылись с пуском новой дороги Свердловск—Серов, что проходит по наиболее древнему горнозаводскому району Урала.

В пору перестройки, в процессе технического обновления предприятий промышленное производство зачастую выносятся с исторических территорий заводов. В ближайшее время это предстоит на старом металлургическом заводе им. В. В. Куйбышева в Нижнем Тагиле, Верх-Исетском металлургическом заводе в Свердловске, Невьянском механическом, Алапаевском металлургическом комбинате. Заводы эти наиболее ценны во всем объеме их историко-культурного содержания и должны составить основу экспозиции. Очень важно в этой связи правильно определить их будущее использование, формы сохранения, предусмотреть меры по консервации, реставрации, воссозданию утраченного.

Свердловский архитектурный институт за последние годы выполнил в этом направлении ряд исследований и разработок. Были сформулированы исходные позиции сохранения и использования промышленного наследия. Во-первых, эти исторические комплексы не должны исключаться из-под арендной или балансовой опеки предприятия, а наоборот — использоваться им с большей пользой. Во-вторых, формы такого использования исторических промышленных комплексов надо определять не столько с позиций их материальной, сколько духовной ценности. В-третьих, следует по возможности сохранить производственный профиль и технологию, которые имеют самостоятельную ценность как исторические объекты и могут служить дополнительным средством самокупаемости расходов на содержание памятников. В-четвертых, необходимо усилить роль этих комплексов в воспитательной работе завода, города, района, области, в формировании внешнего облика и структуры общественных центров, а также в региональной системе туризма и экскурсий.

На основе вот таких исходных положений, а также с учетом местных социальных, экономических, планировочных факторов студенты и преподаватели разработали проектные предложения по сохранению и использованию ряда старых заводов как исторических памятников.

Например, старого Невьянского завода. Созданный в 1701 году, он стал «отцом» всей уральской металлургии. Его металл, его мастера и умельцы широко использовались при строительстве других уральских предприятий. Сейчас в комплексе памятника — гидроузел (1701), известная всем наклонная башня с курантами (1725), доменный цех с литейным двором (1807), механическая фабрика (1770-е гг.), электростанция (1915), Преображенский собор (1827—1830 гг.), фрагмент демидовских хором (1725).

Ввиду уникальной ценности экспонатов мы предлагаем поэтапную музеефикацию комплекса с сохранением в здании механической фабрики небольшого производства сувениров и продукции широкого потребления из металла. Это производство само станет объектом экспонирования. Предлагаем также усилить значимость исторического комплекса за счет организации в нем административного и общественного центра предприятия.

Такая форма сохранения наследия возможна также в структуре исторических Ижевского, Воткинского, Златоустовского и других уральских заводов.

Не менее значителен в истории материальной культуры комплекс памятников Нижне-Тагильского металлургического завода им. В. В. Куйбышева. Когда-то крупнейший в Европе завод, он за время своего развития с 1725 года вобрал в себя образцы архитектуры и техники различных эпох и стилей — от гидроузла (1725) до мартеновского (1875—1878) и доменного (1929—1930) производств. Здесь, на наш взгляд, более целесообразно создать промышленный музей-заповедник, выполняющий различные функции — научные, методические, образовательные. Металлургическое производство можно сохранить в качестве научно-экспериментальной или учебно-производственной базы при НТМК им. В. И. Ленина.

Подобные промышленные заповедники возможны также на базе Саткинского, Билимбаевского заводов, соликамских солеварен, полевских рудников.

Иной путь видится в условиях Верх-Исетского завода. Его исторический комплекс в составе гидроузла (1725), великолепного здания заводской конторы (1830-е гг.), блока кричных (1885—1889), доменного (1826) и вспомогательных цехов представляют собой единый ансамбль зданий в стиле русского классицизма. В создании его участвовал видный уральский архитектор М. П. Малахов. Мы предложили создать на базе этой исторической зоны центр досуга молодежи Верх-Исетского района. Здесь наряду с игровыми, спортивными, культурно-развлекательными, мемориальными комплексами мог бы функционировать и комплекс воспитания технического, где молодежь от младшего школьного возраста и до 30 лет сможет найти занятие по душе. Здесь сама историческая среда способна стать учителем.

Велико значение этого комплекса и в структуре генерального плана города. Он, по сути дела, открывает большую пешеходную эспланаду вдоль поймы реки Исети — природную и смысловую ось центра города, на которую нанизаны все его старые заводы, парки, исторические, архитектурные и современные общественные комплексы, памятники и мемориалы. Это «Каменный пояс» города — миниатюрная модель Урала, где, как в капле воды, отразится его славная история и современность.

Центры полезного досуга на базе старых заводов возможны также в Златоусте, Ижевске.

Как будет возрождаться старый Алапаевский завод, пока сказать трудно — работа только начинается. Однако ясно, что здесь складывается крупный историко-культурный узел, основу которого составят музей деревянного народного зодчества и изобразительного искусства в с. Нижняя Синячиха и неустрашимый из истории отечественной металлургии Алапаевский завод.

Создавая программу сохранения и использования памятников истории и культуры Урала до 2000 года, следует уже сейчас ставить сверхзадачу: отреставрировать и сберечь не только ради сохранения, но и создания «Каменного пояса России». Начинать его нужно со старых заводов и рудников, через 5—10 лет будет уже поздно.

Мы призываем всех рабочих, инженеров, техников, ученых, работников искусства, краеведов и историков делом поддержать патристическое начинание. «Каменный пояс России» будет достойным памятником 300-летию уральской металлургии и промышленного освоения края, до которого остается чуть более 10 лет.

Отдел краеведения присоединяется к этому призыву. «Уральский следопыт» будет периодически рассказывать о том, как реализуется региональная экспозиция «Каменный пояс России».



Филипп
АВДЕЕВ

Конец банды Штехана

В начале декабря 1919 года в районе Екатеринослава в боях с денкинцами я был сильно контужен и помещен в городской госпиталь. К концу апреля 1920 года был выписан и в санитарном поезде направлен в Харьков.

Харьковский военкомат. За столом сидел военный средних лет, с забинтованной рукой, поддерживаемой перевязкой через плечо.

Прочитав медицинскую справку из госпиталя, военком сказал:

— На фронт ты, парень, не поедешь. Дело идет к концу, и обойдется без нас. А вот на всей освобожденной Украине действуют белогвардейские, кулацкие и прочие банды, терроризируют население и срывают обеспечение трудового народа продовольствием. В нашей губернии — особенно в Изюмском уезде — много раслодилось контры. Я вижу, красногвардеец ты стреляный. Такие нам нужны.

Получив направление, я отправился на вокзал, сел на ближайший попутный товарняк и через несколько часов прибыл к месту назначения — в город Изюм. Власть Советов в Изюме в то время возглавлял Революционный Исполнительный Комитет. Организовывал в волостях и селах уезда исполкомы и комитеты бедноты, ревком приступил к заготовке хлеба. Возглавлял красноармейский продотряд в составе 23 солдат член упродкома Злобин.

К нему я и прибыл по назначению в начале мая, представился и предъявил документы.

— Наш отряд занимается заготовками продовольствия, — сказал Злобин, — а кулацкие банды, сам понимаешь... Нападают на обозы, зверски расправляются с ох-

раной, отбирают продовольствие и увозят его в лес. Мой отряд — все крестьянская молодежь последнего призыва. Они вооружены, но не обучены, беспомощны перед бандитами. В прошлом месяце зверски убиты семь наших охранников. Бандиты так изрубили им головы, что ни одного из них нельзя было узнать! Это рука атамана Штехана! О нем ты еще услышишь... Милиция, так же, как и наш отряд, состоит из крестьянской молодежи, вооружены, но не обучены и кое-как поддерживают порядок в городе. Работать в волостях в одиночку никто не соглашается. Одна надежда на конный отряд комиссара Бойко, но на нем держится вся гарнизонная служба. Он воюет с пришлыми бандами в отдаленных степных селах и в особо опасных случаях выделяет одного-двух конников для сопровождения наших обозов. Но разве этого достаточно? Теперь вот посевная. Крестьяне, запуганные бандитами, боятся выезжать в поле. А срыв посевной опасней заготовительной! Понял? — спросил Злобин.

— Все понял, — ответил я.

— Ты опытный красноармеец, бывал в переделках. Если я назначу тебя старшим в отряде, своим помощником, справишься? — спросил он. — На первое время — обучи этих необстрелянных, чтоб хоть знали, как из винтовки стрелять.

Я согласился. С этого дня и началась моя служба в продотряде. Не прошло и двух недель ежедневных усиленных занятий с отрядом, как пришлось проверить боеспособность его на деле.

В середине мая 1920 года Злобин приказал подготовить отряд к выезду для сопровождения обозов с продовольственными запасами из пяти волостей. Требовалось пять групп. В нашем распоряжении было десять лошадей и пять пароконных бричек с глубокими кузовами. Верховых лошадей и седел не было. Посоветовавшись с ребятами, я разделил отряд на пять групп, в каждой по четыре бойца, в том числе по одному хорошо знавшему местность. Проверил исправность винтовок, раздал по две обоймы патронов и подготовил отряд к выезду.

Мне было поручено сопровождать отряд из сел Должанской волости, расположенных невдалеке от тепленских лесов по тракту Изюм — Барвенково, где не один десяток наших бойцов были убиты бандами Штехана. По наведенным справкам, уроженец должанской кулацкой семьи Грицко Штехан до 1917 года служил в Петрограде, в кавалерийском полку, а в 1918—1919 годах находился в добровольческой белогвардейской армии Шкуро и в жестоких расправах над мирным населением приобрел славу высококвалифицированного палача. После разгрома Шкуро Штехан уцелел, добрался до своих лесов, организовал небольшую банду и начал терроризировать представителей советской власти и всех сочувствующих ей.

Увеличив свою группу еще двумя бойцами, я доложил Злобину о готовности к отъезду и свои соображения об организации охраны. Он одобрил и решил ехать с моей группой.

Отправив остальных продотрядовцев по своим маршрутам, мы перед рассветом выехали через село Большая Каменка и, не доезжая полверсты до Должика, остановились против дубовой рощи, расположенной на небольшой возвышенности вблизи дороги. Здесь я решил сделать засаду и объявил свои намерения Злобину. Из этой рощи были видны все три дороги, ведущие в Должик. Злобин согласился:

— Да, для засады место отличное.

Он с двумя бойцами отправился в волость, а мы зашли в рощу, расположенную в пятидесяти саженях от дороги, и залегли в кустах.

Рассеялся редкий туман. В селе послышался гомон и собачий лай. По соседней дороге проехали в волость пять хуторских подвод с мешками зерна. Кое-кто из крестьян потянулся в поле. Я предупредил ребят, что таких бандитов, как Штехан или Савонов, в плен не берут, их только расстреливают.

Филипп Никитович Авдеев родился в 1901 году в Иркутске. Участвовал в гражданской войне — под командованием Лазо. Вскоре после событий, о которых Филипп Никитович вспоминает в этом номере журнала, он был назначен начальником милиции в Изюмском уезде Харьковской губернии, где проработал до 1927 года. Окончив горный институт, руководил горно-разведывательной партией экспедиции. Пенсионер республиканского значения.

Скоро мы заметили, как из леса выехали на дорогу семь верховых и, не доезжая до нашей засады, остановились. На ворононом коне ярко вырисовывалась фигура Штехана в голубой венгерке. Он в бинокль осматривал окрестности.

— Целься, — приказал я. Бойцы приготовились.

Видимо, почувствовав неладное, Штехан подал команду, и бандиты выхватили клинки, но не успели сорваться с места, как мы накрыли их ружейными залпами. Лошади закружились в испуге. Четыре бандита упали с седел убитыми. У Штехана выпала из руки пашка.

Удачный удар по банде Штехана дал нам возможность без всяких ЧП в течение почти месяца успешно проводить работу по заготовке про запасов. Только за пять дней мы отправили на заготовительный пункт около двухсот подвод с зерном, изъятым из кулацких тайников.

В конце июня Злобин передал продотряд мне, я стал командиром. Злобин, как и его отец, адвокат, и старший брат, ставший чекистом, безоговорочно принял революцию и Советскую власть и честно служил с ноября 1917 года. Передача продотряда мне объяснялась тем, что он собирался вскоре перейти на юридическую работу в губернию.

Приняв отряд, я начал проявлять уже самостоятельную заботу об улучшении его боеспособности. Мне разрешили подготовить еще и конный отряд из двенадцати всадников. Своих коней, девять седел и тринадцать клинков выделил из личных запасов военком Бойко, и, отобрав надежных ребят, я приступил к занятиям. Политической подготовкой со всем отрядом пока занимался Злобин. Таким образом у нас стало два отряда: конный и пеший, оружием обеспечены. Я передал ребятам весь свой опыт, который приобрел за годы гражданской войны, и этого было в то время вполне достаточно... Отдельными группами мы выезжали в хутора и села, помогали Советам и комитетам бедноты в наведении порядка и укреплении Советской власти. Комиссару Бойко помогали в поимке дезертиров, а милиции — в борьбе с конокрадством, самогонварением, грабежами и прочими преступлениями. В своей работе мы опирались на сельскую бедноту и середняков и пользовались их доверием. Это и помогло нам ликвидировать банду Штехана полностью.

В Изюме в собственном доме цыганки Азы жила приезжая солдатка по имени Феклуша, без определенных занятий. Своей неприметной внешностью она не привлекала постороннего внимания. Жаловалась хозяйке на свои женские болезни и часто посещала фельдшера городской больницы, который жил в добротном пятистенном доме и занимался лечением на дому. Как выяснилось позже, здесь жили и лечились Штехан и его напарники, а Феклуша была женой одного из них. Ухаживала за ними, умело сбывала в Харькове награбленные вещи и ценности, кормила их, аккуратно рассчитывалась с фельдшером и Азой.

Оправившись от ран, Штехан, чтобы не привлекать внимания местных органов власти и милиции города Изюма, стал делать вылазки в соседний уезд. Продолжал грабежи и убийства активистов и всех сочувствующих Советской власти. Сделав «дело» и упрятав в лесу в землянках награбленное добро, бандиты поздней ночью возвращались в Изюм на квартиру фельдшера. Трудно было догадаться, что прячутся-то бандиты под самым носом у органов власти. Так продолжалось до конца октября. Морозной ночью Штехан вместе со своими двумя напарниками отправился в теплинский лес, чтобы забрать в одной из землянок награбленные вещи для Феклуши. Когда на рассвете прошли Малую Каменку и вышли к опушке леса, где была расположена усадьба лесника Апанаса Осадчего, Штехан решил зайти к леснику и свести с ним счеты. Один из бандитов попытался отговорить Штехана, но тот, презрительно посмотрев выдуками бычьими глазами, сказал:

— Дура, а ты знаешь, какие у лесника баба и дочком-сомолочка?..

Войдя в избу, Штехан произнес:

— Здорово, Апанас, принимай гостей!

Красавица жена Осадчего Оксана и 16-летняя дочь Одарка только что встали и с тревогой смотрели на извстных им бандитов. Едва лесник коснулся ружья, как Штехан, подскочив, вырвал его из рук:

— Никуда ты, Апанас, не пойдешь из дому, пока мы у тебя в гостях.

— Я же на службе, — сказал лесник.

— Я тоже на службе, — ответил Штехан и, выхватив из-за пазухи кинжал, нанес сильный удар в левый бок лесника. Лесник замертво рухнул на пол. Бандиты изнасиловали его жену и дочь, потом убили их. Обыскав дом, нашли пачку керенок, пачку десятирублевых экатеринок и приготовленное к свадьбе белье и платье Одарки.

Как выходили, их видел Павлушка Коваль, двенадцатилетний сын бедняка с хутора Водопьяны. По наказу матери он шел к дядьке Апанасу кушать немного меду для больной сестры.

Ночью шел снег. Путь четкие следы, бандиты колесили между деревьями, пока не добрались до землянки. Сняв маскировочный дерн входного отверстия, залезли в землянку, зажгли свечи, достали награбленное. Были здесь и дорогие вещи, золотые перстни, кольца и медальоны с цепочками, снятые с убитых. Погрузив три мешка добра, Штехан решил дожидаться вечера и зайти на хутор Водопьяны к своей двоюродной тетке Насте Пацюк, а на рассвете вернуться в Изюм к фельдшеру.

В этот день по просьбе отца Штехана, своего двоюродного брата, Настя варила самогон. Пацюк ездил в волость. Я видел его там и присутствовал при разговоре о размере наложенной на него продрозверстки. Это был крестьянин-середняк, добросовестный труженик. Он сочувственно отнесся к приходу Советской власти, но открыто агитировать за нее не решался из осторожности. С отцом Штехана был в натянутых отношениях, и родственные связи поддерживала только жена.

Согласившись с размером наложенной продрозверстки, Пацюк уехал домой. Жена с 14-летней дочерью Марийкой хлопотала над самогонкой.

— Кому варишь? — спросил Пацюк.

— Для старого Штехана. Просил сварить побольше для угощения комитетчиков, чтобы сбавили ему продрозверстку.

— Дурак он, — сказал Пацюк. — У него сын бандит и душегуб, никому не дает пощады. А старый дурак думает, что комитетчики продадутся за самогонку...

Жена смолчала и стала готовить ужин. Только сели за стол, во дворе раздался голос:

— Открывай, хозяйин, гости пришли!

Оставив мешки в сенях, бандиты вошли в избу.

— Здорово, тетка Настя! Принимай гостей! — улыбаясь мясистыми губами, сказал Штехан. — По запаху чую, что есть первачок.

— Есть-есть. Твой отец заказал. Сказал, что будет угощать комитетчиков, чтоб раздобылись.

— Черта им лысого, а не самогон! Вот им! — Толстая лапа скрутилась в кукиш.

Бандиты добрались до самогона — не остановить.

— Может, отдохнете? — спросил Пацюк. Штехан посмотрел на него мутными глазами и, еле ворочая языком, приказал:

— Веди нас в овин, на солому, а после полуночи разбуди, понял?

Пацюк помог бандитам вылезти из-за стола и, подерживая под руки Штехана, повел их в овин, расположенный на току, в полусотне сажени от дома. В нем после обмолота хранилась кормовая солома и отходы. Закрыв за бандитами двухстворчатые ворота, Пацюк вернулся в избу. Настя с Марийкой уже ожидали его.

— Вот что, Настя. Быстро одевайтесь и идите к

Апанасу! Там переночуйте, а утром придете. Я замкну избу и поспачу в Должик.

Настя покачала головой, но, ничего не сказав, стала собираться.

Пацюк и Осадчий были давние друзья и готовились стать сватами. Сын Пацюка Ивась и дочь Осадчего Одарка после сватанья стали женихом и невестой. Свадьбу собирались справить на Покров день. Но гражданская война все расстроила. В конце мая Ивася мобилизовали в Красную Армию. Вскоре хитрый и осторожный Пацюк, опасаясь мести за сына со стороны кулаков и бандитов, распустил слухок, что Ивась, мол, дезертировал. Хотя сам был твердо убежден, что сын честно служит Советской власти. Предупредил только о своей хитрости Осадчих да жену с дочкой. Со дня мобилизации и до последних дней не было от Ивася никаких известий. Одарка горевала и не находила себе места. Когда местные активисты предложили ей записаться в комсомол, она согласилась, да и родители одобрили ее намерение. Пацюк пытался отговорить Осадчего, чтобы погодила немного со вступлением Одарки в комсомол, да гордый лесничий твердо сказал: «Нет уж, пусть вступает!» Старый Штехан рассказал обо всем сыну. Видимо, за это бандиты и расправились с семьей Осадчего.

Прискакав в Должик на взмыленном коне, Пацюк, взволнованный, ворвался в комнату председателя исполкома, где мы с членами комитета бедноты уточняли списки крестьянских хозяйств волости по обложению продразверсткой. Он рассказал, что произошло в его доме, где сейчас находятся бандиты, в каком состоянии и чем вооружены.

Только мы стали обсуждать, как лучше взять бандитов, к крыльцу подлетела телега, из которой буквально выпали чуть живые, с расширенными от ужаса глазами Марийка и Павлушка Коваль.

— Таточка! Что они сделали!.. Там... у дядьки Апанаса все изрезаны. Павлушка говорит, что это Штехан...

Кое-как выслушав сбивчивый рассказ перепуганных детей, посоветовавшись с председателем и членами комитета, я решил немедленно ехать на ликвидацию банды.

Ярко светила луна, и было довольно светло. Передав коней Пацюку, мы осторожно окружили овин так, чтобы видеть друг друга. Двум бойцам, Евневичу и Захарову, я поручил охрану выхода на дорогу, а сам с Литвиенко занял главный выход. Я надеялся, что пока пьяные бандиты спят, удастся осторожно открыть ворота овина и в упор расстрелять или обезоружить банду. Но эта затея сорвалась.

Пацюк, тревожась за лошадей, повел их за сарай двора, где находился годовалый жеребенок. Почувствовав приближение лошадей, жеребенок заржал звонкой фистулой, а лошадь ответила еще громче. Бандиты вскопчили, зашевелились и заклацали затворами винтовочных обрзов. Тогда я крикнул:

— Штехан, сдавайся! Мы окружены и сопротивление бесполезно! — выхватил гранату и бросил в овин. Раздался взрыв, все смолкло.

Через несколько секунд я с наганом в руке прыгнул внутрь овина, за мной Захаров, с фонарем в одной руке и винтовкой в другой, и Евневич. Увидели в соломе на полу окровавленные тела двух, по-видимому, серьезно раненных бандитов. Один из них с трудом поднял руки вверх и просипел:

— Не стреляйте... здаемось...

Евневич штыком перевернул всю солому, но Штехана не было. Тут Захаров увидел приоткрытый лаз на крышу. Не сговариваясь, мы бросились наружу. Неужели ушел? Выскочив из овина, мы увидели, как в сторону леса, волоча правую ногу и ежесекундно оглядываясь, быстро ковыляет Штехан. Выстрелили почти одновременно все четверо: я, Захаров, Евневич и раненый Литвиенко. Штехан споткнулся и упал вперед. Больше он не поднимался.

Пришла расплата за все горе и слезы, которые он принес людям. Бандит получил свое.

КРЫЛАШКА

Николай ЗУБЬЯКОВ

В мае 1944 года наша разведгруппа возвращалась с поиска в тылу врага, пробираясь сквозь болотистые плавни северо-восточнее Талмаза. До старого русла Днестра прошли удачно, потом две мины разом подняли перед нами столбы смешанной с илом темно-зеленой воды, две других взорвались посредине небольшого, густо поросшего камышами островка, и отброшенный взрывом к заводу дикий гусь в страхе захлопал по болотной жиже окровавленными крыльями.

Пришлось скрытно отползать вправо и долго лежать, прислушиваясь, в поросшей осокой вязкой торфяной топи.

Сгустились сумерки. С востока подул низовой холодный ветер. Лежавший неподалеку гусь приподнялся на одной ноге (вторая, как оказалось, была рассечена осколком), но тут же опустил, распластав раненные крылья.

Когда командир группы лейтенант Субботин, осмотревшись, дал знак следовать за ним, я завернул гуся в полу маскировочного халата и взял с собой.

Дальше до дивизии добрались без приключений. Военфельдшер санбата лейтенант Ерохин наложил на ногу и крылья гуся шинные повязки и стал лечить какими-то лекарствами. Крылашка, как все мы стали звать гуся с легкой руки сержанта Васи Бакшеева, жил с нами в биндаже и стал общим любимцем. С особой нежностью к израненной птице относился медсестра Лина Ковтун.

Недели через три Крылашка стал сам выходить из биндажа и с жадностью щипал травку на склонах бруствера, а едва начинался артиллерийский обстрел, он шустро, опережая нас, убежал в укрытие. Через некоторое время Крылашка выздоровел окончательно, и мы стали выносить его к находившейся в тылу роще. Гусь с радостным гогомом взлетал в небо, парил там, но непременно возвращался к нам.

Ничего экзотического не было в этой серой птице, однако ее присутствие в неприхотливой землянке украшивало наши суровые будни. Нам и в голову не могло прийти, что с Крылашкой придется расстаться. И все же это произошло.

На рассвете 20 августа, прорвав оборону врага, наши войска устремились на запад. В только что освобожденном Талмазе мы задержались, чтобы наполнить колодезную воюю походные фляги. В саду одной из хат наш командир Алеша Субботин, передавая гуся в руки хозяйке, сказал:

— Берегите Крылашку и любите его, как любили мы, Лина всплакнула, прощаясь со своим любимцем.

В ожесточенных боях на полях Бессарабии дни смешались с ночами. Потом были Прут, Румыния, голубой Дунай, высокие отроги суровых Балкан.

В ста километрах западнее Варны на двух танках прикасаемо было разведать путь от затерянного в горах городишка Градец до уходящего за облака Снежного перевала.

До нашего прихода городок бомбили «юнкерсы», и теперь с белой церквушки доносился одинокий звон колокола, оплакивавшего загубленные жизни мирных людей.

Мы выехали за Градец и там, против усадьбы лесного кордона, стали свидетелями глубоко тронувшего нас печального зрелища. Ежась от пронизывающего ветра, посреди каменной дороги стоял на коленях седой, босой старик в латаной полотняной рубахе. Вознося к небу иссохшие руки, он что-то шептал, по его щекам текли слезы.

Переводчик Ранко сказал, что старик просит русских не стрелять по его дому, там лежит его тяжелобольная и онемевшая от горя жена. Вчера фашисты убили во дворе на глазах матери сына и угнали в горы невестку с годовалым внуком.

Стрелять по избе никто, конечно, не думал. Хотелось успокоить несчастного, сказать ему что-то ободряющее. Однако, увидев свежий холмик земли — могилу убитого сына, мы поняли, что любые слова неуместны.

Алеша Субботин достал из танка неприкосновенный запас сахара, сухарей, консервов и передал старику. Тот низко опустил в поклоне голову.

Казалось, никогда за всю войну не было так тяжело на сердце, как в то предвечерье за траурным Градцем, и никогда еще тоска по родине не была такой острой.

Мы стояли в молчаливом оцепенении.

И вдруг до нашего слуха дошли знакомые с детства крики. Трудно взмахивая крыльями, в небе шли к перевалу дикие гуси. Первым очнулся Вася Бакшеев.

— Братцы! — закричал он. — Смотрите, наши гуски летят! Из России. И наверняка наш Крылашка с ними!

Будто услышав неистовые Васины крики, гуси стали снижаться и, сделав несколько кругов, выровняли строй, набрали высоту и ушли к перевалу.

ПУШКАРЕНОК

Леонид ГОЛУБЕВ

Как-то во время встречи с ветеранами войны я обратил внимание на медаль «За победу над Японией» на пиджаке Олега Николаевича Беглецова. Меня это заинтересовало: сколько же ему было лет в ту самую пору, когда наша Родина сражалась с врагами?

— Воевали? — спросил я.

— Было, — как-то немногословно ответил он.

...Тревожные военные годы. В то время и мальчишки старались помочь Родине быстрее разбить врага.

Когда капитулировала фашистская Германия, залп по врагу дал 37-й артиллерийский гаубичный полк 59-й стрелковой дивизии Первой Дальневосточной армии. Началась схватка с японскими самураями.

Артиллеристы на станции Гродеково получили приказ:

— По машинам! Вступить в бой!

Усталый старшина, подбежав к «студбеккеру», заметил в кузове среди ящиков со снарядами подозрительного парнишку. «Заяц», как выразился старшина, прижался к борту машины, очевидно, струсил не на шутку.

— Пацан! — разглядел усы старшина. — Вроде бы и не япошка...

Мальчик был чумазый, оборванный, шмыгал носом, испуганно таращил серые глаза на артиллеристов.

К машине подошел командир полка подполковник Ситковский.

— В чем дело? — спросил.

— Да вот, думал — япошку словил... — ответил старшина. — Между ящиков залег. А вроде бы пацан-то наш...

Командир полка посмотрел на мальчика.

— Как сюда попал?

— На войну еду.

— Ишь ты какой! — потрепал его по русым волосам. — Говоришь, на войну?.. Звать-то как?

— Олег... Беглецов... — прошептал мальчик.

— Говоришь, Беглецов? — переспросил подполковник. — Где же я встречал такую фамилию?

Вспомнил, что в отдельном артиллерийском соединении большой мощности резерва Главного командования служил майор Беглецов, начальником политотдела. Но имени-отчества того майора он не помнил. Раздумывать было некогда, приказал:

— Старшина Пустынцев, мальчишку отправить в тыл!

Получилось так, что попутной автомашины не оказалось, и старшина Пустынцев временно оставил Олега в дивизионе.

— Дядя Ваня, я умею драить ложки, котелки... — хныкал Олег. — За обедом буду бегать. Пушки буду чистить.

— Вот еще, нашелся пушкар! — улыбнулся старшина. — Да знаешь, за невыполнение приказа что бывает? В штрафную отправят!

Олег Беглецов с первых дней понравился старшине. И отправка его затянулась.

Артиллерийский полк продвигался с боями вперед. Олега сторонился начальства. Старался ему не попадаться на глаза. Он драил ложки, котелки. Стал помогать солдатам чистить могучую матушку-пушку, подгаскивать ящики со снарядами.

Все же однажды командир полка Ситковский наткнулся на Олега. Возле дальнбойной пушки. Старшина Пустынцев только тяжело вздохнул, предчувствуя разгон.

Олег не растерялся, смело шагнул навстречу командиру.

— Не отсылайте, товарищ подполковник. Я все равно убегу и буду воевать.

— Оставьте, товарищ подполковник, парнишку у нас, — заговорил старшина. — Он хоть ростиком не вышел, но больно толковый... В арифметике кумекает неплохо. Пусть будет нашим пушкаренком!

Командир полка задумался.

— Говоришь, оставить пушкаренком? Да выйдет ли толк?

— Выйдет, выйдет! — заговорили артиллеристы.

Командир полка повернулся к старшине:

— Быть по-твоему!..

Олега обмундировали. Старшине Пустынцеву пришлось повозиться с подборкой обмундирования. Пушкаренок был худенький, тщедушный. Брюки, гимнастерку, шинель пришлось подрезать, ушивать.

Вместе с артиллеристами Олег прошел многие огневые версты. Приходилось не только драить ложки да котелки, но выполнять и более сложные поручения.

Артиллерия полка наводила страх на японских самураев.

В сентябре 1945 года полк дислоцировался в Харбине. Однажды к штабу подкатила легковушка. Из машины вышел начальник политотдела майор Беглецов. Увидев у дверей штаба сына, бросился к нему:

— Понимаешь, мать потеряла тебя. Затребовала розыски. А ты, оказывается, здесь!

У Олега от радости навернулись на глазах слезы.

— Папка! — шептал он. — Я ведь тебя искал...

— Вот и встретились, Николай Яковлевич! — наблюдая за встречей отца с сыном, весело проговорил командир полка. — Бывают же чудеса!

Как же сложилась дальнейшая судьба Олега Николаевича Беглецова? После десятилетки он поступил в Харьковский политехнический институт. Получив диплом инженера-металлурга, был направлен на Урал, в город Полевской, на Северский металлургический завод (позже переименованный в трубный). Работал мастером листопркатного цеха, потом — его начальником. Избирался партгором завода. Был делегатом XXV съезда КПСС.

РОССИЯ, ВЕРЬ!

Юрий
ЛИПАТНИКОВ

Снимки Олега Капорейко



Новгород. Памятник 1000-летию России (фрагмент).

Чтобы умно провести праздник азбуки, сначала нужно овладеть азбукой праздника. А для этого надо не говорить о праздниках славянской письменности, а каждый год организовывать их.

Об этом кулуарно толковали многие минувшим летом в древнем Новгороде. Там несколько дней излучал духовность Праздник славянского слова и культуры. Усилители этого излучения, кажется, были представлены в полном наборе: всепроникающие газетчики, многодумные публицисты, проворные телевизионщики и серьезные кинематографисты...

И все-таки «северное сияние» новгородского фестиваля высветило, на мой взгляд, лишь малое пространство в духовном мире. Но высветило тем не менее отрадную перемену. В стране возрождается интерес к национальному.

Напомню: Новгород шел за Мурманском и Вологодой. В этих двух городах Праздник славянской письменности только разгорался — Новгород подхватил и достойно пронес этот священный огонь. А на родине Александра Невского, у стен святой Софии, сошлись и слились две вершины: 1000-летие принятия христианства на Руси и 1125-летие славянской азбуки.

Воодушевленный нарастающим силой славянского праздника, сам министр культуры России Юрий Мелентьев выразил веру в то, что праздник сей — светлый и должен утвердиться на все времена.

Чуткий к любой беде (случилась ли она с родной природой или с культурой — все едино!) писатель Владимир Крупин рассказывал о том, как он попал в Болгарию, как пережил там радость и огорчение: он увидел у дорогих соседей праздник Кирилла и Мефодия, посвященный рыцарям просвещения, слава о которых, попутно заметим, пережила славу всех псов-рыцарей, что не с пером, а с мечом входили в славянские пределы.

Увиденное у болгар ошеломило русского писателя. Вся страна вышла на улицы, словно было напропачено сошествие с небес святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Их явления ожидали с цветами, с плакатами, с флагами, песни взлетали в небо. Отчего так радовался народ? Он помнил и помнит, что **ВЫЖИЛ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ РОДНЫМ СЛОВОМ**. Огорчился в гостях у братушек Владимир Крупин, как подумал о России. Грустная, странная логика жизни у нас, у россиян. Вписали мы в календари много парадных дат: Дни рыбака, машиностроителя, медика, учителя, геолога... Все больше праздников, что нас не объединяют, все меньше красных дней, объединяющих нас...

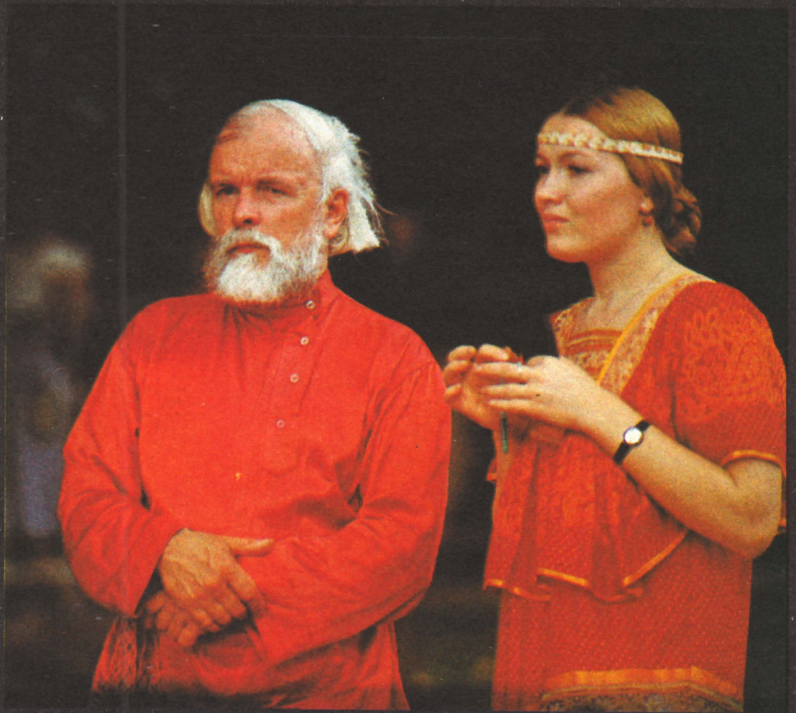
Разве СЛОВО, соединив болгар, не может соединить все славянские народы? Вот почему праздник славянской письменности крепнет год от году, от города к городу. Мурманск — Вологда — Новгород. Дальше, возможно, Псков. Или Киев, или Минск.

Еще не заржавел национальный нигилизм. Его выразители помнят свое повсеместное торжество в тридцатые годы. Помним и мы, как первыми пали крестьянские поэты. Но уже дружнее работа патриотов, они не допустят, чтобы храмы саморазрушились, уже успешнее попытки помочь русской песне распрямить крылья в радиоэфире. И поднимаются национальные культуры после недуга беспомысленности, и мы вновь видим то великое, что оставили нам в наследство предки.

Песни, храмы, книги, танцы — все это кружилось



1. Памятник 1000-летию России. Скульптор М. О. Микешин. Открыт 8 сентября 1862; 2. Церковь Спаса Преображения; 3. Торжественную литургию в честь великих просветителей Кирилла и Мефодия ведет митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей; 4. Юрьев монастырь — основан в 1030 году Ярославом Мудрым; 5. Ярославло двореице;



6. Купола Крестовоздвиженского собора, часть ансамбля Юрьева монастыря; 7. Новгородский Кремль (Детинец); 8. Золотые купола Софийского собора; 9. Писатель Дмитрий Балашов; 10. Ярославово дворище (под именем «Княжеский двор») впервые упоминается в 1113 году); 11. Ручпись 2-й половины XVIII века «Страсти Христовы и житие Василия Нового», содержащая 52 миниатюры.

в Новгороде вокруг человека, поворачивалось к нему то одной гранью (старинные книги), то другой (памятники отечественного зодчества). А надо бы так-то воспитывать подрастающее поколение всегда и везде: включать молодого человека в контекст национальной культуры.

Писатель В. Санги сказал в Новгороде о том, что славянская письменность породила письменность нанайцев, нивхов, коряков, чукчей, ульчей, удэге. И можно себе представить дружный хоровод букв из разных азбук: светоносный праздник славянского Слова, несомненно, разбудит в России всяк сущий в ней язык.

У каждого из нас — в каком бы народе мы ни зародились и ни выросли, — есть свои святые места. Одна из таких живых святынь у русских — Новгород. И когда впервые подходишь к какому-либо новгородскому храму, то без подсказок родиноведческих книг и рекламных проспектов сразу постигаешь это чудо гармонии: белый храм — словно не творение рук, а кристалл, проклюнувшийся через травяную землю на свет божий из темных недр. Такая в нем цельность, непридуманность и неучтожимость. И очень, оказывается, невелик новгородский храм. Вырос ровно настолько, чтобы, не грозя величием, притягивать к себе избы, чтобы звать к себе новгородцев, не раболепствующих перед богом, а сливающихся с соотечественниками. Древние зодчие членили город на микрорайоны с храмами в центре.

Новгород — республика Веры.

«Люблю в нем все скрытое, — открывал душу Н. Рерих, — все, что покоится тут же среди нас. Для чего не надо ездить на далекие окраины: не нужно в далеких пустынях искать, когда бездны еще не открыты в срединной части нашей земли. По новгородскому краю все прошло. Прошло все отважное, прошло все культурное, прошло все верящее в себя».

Археологи блестяще доказали, что пронизательный Рерих и в этом случае прав: они представили миру вещественные доказательства разноликой ушедшей жизни новгородцев, верящих в себя.

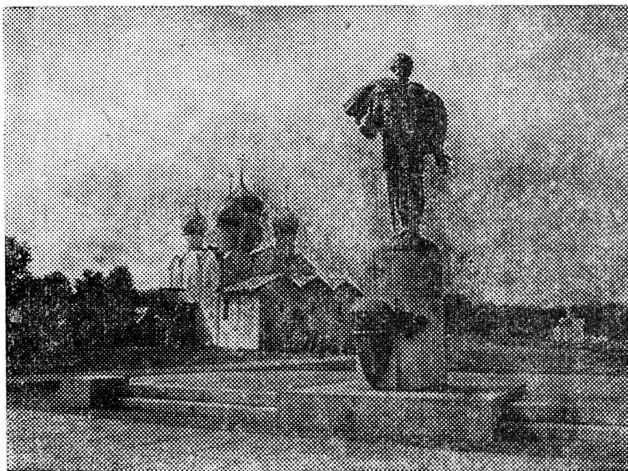
В 1906 году был найден клад в местности Собачьи Горбы: позолоченные застежки, украшенные орнаментом из мельчайшей зерни, витые гривны, браслеты, покрытые чернью, изящные бусы. Эти предметы говорят о том, что на берегах Волхова 1000 лет назад катилась уверенная жизнь оседлых людей — земледельцев, скотоводов. Раритет одиннадцатого века — костяное навершие плети с изображением на нем личного знака князя Глеба Святославовича. Нет числа находкам в этой земле...

Не обязательно непременно эти, а могли быть и другие, более замечательные вещи-свидетели новгородской старины здесь названы. У современных новгородцев — свои любимые тропы по старому городу.

Возможно, Новгород станет местом вашего восхищения Русью, вашим духовным праздником и, что еще важнее, началом похода в царство неделимого времени — Прошлое-настоящее-будущее.

На снимках:

Храм в Юрьевом монастыре;
фреска — Кирилл и Мефодий;
памятник Александру Невскому.





Леонид
ОСИНЦЕВ

ВСТРЕЧИ С КРУПСКОЙ



Ветерана партии Алевтину Максимовну Сереброву знают в Шадринске по многолетней работе в учреждении культуры. Она заведовала библиотекой, была директором кинотеатра «Октябрь»...

Однажды Алевтина Максимовна показала мне альбом. За беседой незаметно пролетело два часа.

— Когда в Шадринске был педтехникум,— рассказывала она,— а я работала заведующей центральной библиотекой, меня послали на курсы по переподготовке кадров народного образования в Москву, чтобы после их окончания я могла преподавать в техникуме библиотечное дело. Собралось нас в группе 30 человек. Была я молодая, бойкая, и меня там прозвали Дикарка с Урала, так как я всюду бегала и не раз меня из-под машины выдергивали.

Как-то в субботу пришел наш руководитель и сказал, что в понедельник в 2 часа дня нас ждет на прием Надежда Константиновна Крупская. «А вы, как парторг курсов,— сказал он мне,— должны начать с ней разговор».

Пришли в Наркомпрос на Чистых Прудах. В 2 часа 2 минуты дверь кабинета открылась и вышла низенькая седенькая старушка, поздоровалась. Как я узнала позднее, это была Клара Цеткин. Затем дверь распахнулась пошире и к нам вышла Надежда Константиновна.

Зашли в кабинет. Дубовый стол, кресла высокие. Сели. У меня от волнения коленки дрожат. Думаю, как буду говорить, так крепко-крепко буду за кресло держаться.

Но Надежда Константиновна поглядела так ласково, что робость прошла.

— Надежда Константиновна,— начала я,— считаете ли вы, что нам не нужны экскурсии в ленинградские библиотеки?

— Нет, я так не считаю.

— А вот начальник курсов денег не дает, говорит, что такие экскурсии сметой не предусмотрены.

Она тут же написала записку: «Товарищ Клабуковский, экскурсии в ленинградские библиотеки надо организовать».

Затем она стала говорить, что на местах еще мало обращают внимания на политпросвет, поэтому надо добиваться удовлетворения своих нужд.

— Вас в одни двери выпроводят — в другие заходите. Владимир Ильич любил поговорку: под лежачий камень вода не течет.

В Ленинграде мне запомнилось посещение библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. С нами занимался старичок, который проработал в библиотеке 50 лет. Он рассказал, что лично знал одного читателя, который прекрасно читал на девяти иностранных языках. Книги брал на дом и всегда оговаривал срок — когда их возвратит, причем говорил: принесу в такой-то день, такой-то час. И не было случая, чтобы он просрочил этот день и этот час, несмотря на дождь или метель. Этим читателем был Владимир Ильич Ленин.

В альбоме есть фотография Надежды Константиновны. Она сидит за столом, наклоняясь к бумагам. На столе ничего лишнего, только настольная лампа с матерчатым светлым абажуром да пресс-папье.

На обратной стороне фотографии слова: «1935 г. Наркомпрос, г. Москва. Отличники политпросветработы на встрече с Н. К. Крупской».

Когда все собрались, вспоминает

На снимке: Н. К. Крупская с уральцами. Москва, 1936 год. Во втором ряду, третья слева — А. М. Серброва.

Алевтина Максимовна, Надежда Константиновна спросила: «Кто израсходовал книжные деньги по смете на этот год?»

Встали несколько человек, в том числе и я. Замнаркома распорядилась отпустить этим товарищам дополнительно на приобретение книг из средств райфо по 3 тысячи рублей.

— Приехала я в Шадринск, пошла к заведующему райфо, прошу деньги, а он мне в ответ: «Ты понимаешь, что учителям да медикам нужно платить?» — «А книжничко кому — тоже учителям да медикам».

В это время к нему зашли, а он и рад: «Выйди», — говорит.

Я вышла, сижу в коридоре. А когда посетители ушли, снова захожу. Как Крупская учила.

Так эти деньги я у него и выцарапала.

Шадринская библиотека активно включилась тогда во всесоюзный конкурс. И книжный фонд ее пополнился на четыре тысячи томов, а более 800 книг, пришедших уже в негодность, переплели. Заметно увеличилось число читателей, количество передвижных библиотек в селах района.

— В 1936 году,— продолжала Алевтина Максимовна,— я была снова приглашена в Москву, на всесоюзное совещание библиотекарей-отлич-

ников. Итоговый доклад в Доме союзов делала Надежда Константиновна. Она, помнится, поставила задачу организовать в библиотеках залы по изучению марксистско-ленинской теории. Такую комнату я позднее открыла в Шадринске.

Когда доклад кончился, стали фотографироваться. Надежда Константиновна сказала, что хочет сняться с уральцами. Эта фотография тоже сохранилась в альбоме Алевтины Максимовны. В первом ряду, в центре, сидит Надежда Константиновна. На лацкане жакета — орден Ленина без колодки, тогда так носили.

Между прочим, когда стали фотографироваться, Надежда Константиновна заметила одну скромную женщину из Зверинки, которая была беременна, но стояла на ногах во втором ряду. Крупская обратилась к сидевшей рядом с ней женщине и, извинившись, попросила ее уступить место. Это запомнилось.

А. М. Сереброву наградили тогда Почетной грамотой, денежной премией и часами. Грамота за подписью Надежды Константиновны экспонируется теперь в городском музее.

**Виктор
БЕРДИНСКИХ**

ПАМЯТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Она сохранилась в личном архиве профессора Кировского пединститута, заслуженного деятеля науки РСФСР Анатолия Васильевича Эммаусского (1898—1987). На снимке запечатлена Надежда Константиновна Крупская вместе с группой учителей — делегатов всесоюзной конференции преподавателей школ для взрослых.

В то время (1926 год) Анатолий Васильевич закончил Тверской педагогический институт и был направлен учителем истории в тверскую школу для взрослых второй ступени. Школы для взрослых были в ведении Главпрофобра, который возглавляла Надежда Константиновна, поэтому она и руководила всей работой конференции, была с делегатами не толь-

ко на заседаниях, но и в перерывах, на всех экскурсиях и в поездках по Москве.

В своих воспоминаниях А. В. Эммаусский писал, что в первый же день делегаты были буквально очарованы Крупской. Докладчиком и руководителем она была просто прекрасным. Но оказалась еще более прекрасным и задушевным собеседником. Неформальное общение с Надеждой Константиновной в перерывах, на экскурсиях дало учителям не меньше, чем участие в заседаниях. По словам А. В. Эммаусского, встречи с Н. К. Крупской стали для него «мощным педагогическим зарядом на всю жизнь».

Профессор А. В. Эммаусский, автор нескольких десятков статей по истории Вятского края периода феодализма, нескольких книг, более 50 лет преподававший в Кировском педагогическом институте, пронес память об этих встречах через всю свою жизнь.

На снимке: Н. К. Крупская (в центре) с группой учителей. Пятый справа в верхнем ряду — А. В. Эммаусский.



«МОИМ ДОЧЕРЯМ ПОСВЯЩАЮ»

Александр ШМАКОВ,
писатель-краевед

Книге 65 лет. Она издана «Урал-книгой» тиражом три тысячи экземпляров и давно стала библиографической редкостью. Называется «Год в колчаковском подполье». Это дневник заключенного екатеринбургской тюрьмы колчаковцев.

Дневнику предпослана строка: «Моим дочерям, Марианне и Валерии Герасимовым, посвящаю».

Имя автора, профессионального революционера, мало что говорит сегодняшнему читателю. Анатолий Алексеевич Герасимов родился в 1867 году на Орловщине и девятнадцатилетним юношей-студентом был арестован и судим за принадлежность к группе Благоева. Вторично его арестовали в Саратове, где он работал в газете.

В 1917-м Анатолий Алексеевич уже в Екатеринбурге. Работает сначала в газете, а потом комиссаром народного просвещения. 27 июня 1918 года по доносу он был схвачен белочехами и брошен в тюрьму.

В предисловии Герасимов пишет: «При частых, порой внезапных обысках приходилось прибегать ко всякого рода ухищрениям, чтобы спасти дневник. Обертывать листки его вокруг тела и забинтовывать их, прятать в сапоги, в печку под пепел и т. д. И дневник удалось сохранить до прихода на Урал Красных Орловцев...»

Первая запись сделана 18 августа: «Приводят избитых арестованных, не знающих причин их ареста, допросов, избивений. На вопрос, за что арестован, долго ли будут держать в тюрьме, лаконичный ответ: — Всех расстреляют...»

Но ничто не устрашало людей. В застенках все бурлило. Выпускали рукописный журнал «Екатеринбургская тюрьма». К его выпуску приложил свою руку и Герасимов.

Вот запись от 9 ноября о том, как в камеру поместили очередного арестованного Фокина — уполномоченного по заготовке продовольствия для Красной гвардии...

26 февраля — запись о судьбе товарищей по несчастью: «Штеллинга выслали в Туринск, Фокина эвакуировали куда-то в уездную тюрьму, но по дороге он бежал...»

С июня 1919 года в колчаковский застенек начинают проникать обнадеживающие вести: близка к Перми Красная Армия. Затем в дневник заносится: «До последней минуты над головами нашими висел вопрос: остаются ли в живых до прихода красных или...»

Конец мучительным переживаниям положили Красные Орлы, «мощным взмахом своих крыльев разбившие тяжкие цепи».

...«Уже совсем рассвело, когда я, нагруженный своими вещами, покидаю застенек. Легко и свободно дышится... Путь новой жизни озаряет животворное солнце.

Дню вчерашнему — забудьте,

Дню грядущему — привет!»

Так завершается дневник заключенного — яркий документ времени.

Посвящение книги дочерям — факт примечательный. Они оказались достойными отца. Марианна Анатольевна Герасимова — чекистка, пострадавшая в годы сталинского произвола, была верна отцовскому завету до последнего часа. В двадцатые годы она работала инструктором политуправления Приуральского военного округа.

Валерия Анатольевна Герасимова — известная советская писательница. В ее книгах отражена реальная действительность и события, свидетелями которых она была на Урале, когда училась в Екатеринбурге и учительствовала в красноармейской школе Челябинска.

Сам Анатолий Алексеевич после колчаковской тюрьмы работал в области народного просвещения, сотрудничал в «Молодой гвардии», «Молодом ленинце» и других московских периодических изданиях.

Он умер июньским днем 1928 года. Ю. Либелинский, А. Фадеев и А. Богданов писали в «Правде»: «Память о нем пусть будет призывом к бодрости и твердости в деле борьбы за победу пролетариата».

г. Челябинск

БОТАНИК, ПЕДАГОГ, ПОЭТ

Александр ЛЕЙФЕР,
краевед

В Омском госархиве хранится пачка писем и почтовых открыток, которые ботаник Михаил Михайлович Снязов в 1912—1913 годах посылал своему коллеге В. Ф. Семенову, жившему тогда в Томске. Большая часть текста написана по-латыни — это длинные перечни найденных растений. Некоторые снабжены рисунками. Но вот рядом нечто другое.

«Эту осень я совсем не занимаясь ботаническими работами, удивившись в поэзию: прочел Вяткина, Чумаченко, Драверта, напечатал не-

сколько стихотворений в «Сибирской неделе».

В этих письмах — ключ к пониманию личности Снязова: строгая латынь соседствует с мыслями о поэзии. В его жизни эти две ипостаси всегда шли рука об руку. Даже учился он своеобразно: поступил в Казанский университет на историко-филологический факультет, а потом перешел на естественное отделение физико-математического.

В 1882 году двадцатичетырехлетний Михаил Снязов становится учителем Омской женской гимназии. И изучает местную флору. Вот как пишет о нем коллега по Географическому обществу А. Н. Седельников:

«Каждую весну, лето и осень можно было встретить М. М. где-нибудь в окрестностях Омска с записной книжкой, клеенчатой сумкой и железной палочкой в руках. Все интересные для ботаника места он изучил хорошо; знал, где растут те или иные виды растений, и посещал их в разные периоды вегетации (таких наблюдений у предшественников его не было)... Благодаря трудам М-а М-а, Омск оказался в деле изучения своей флоры счастливее других городов Сибири». 588 видов растений описано им в капитальном труде «Новый список омской флоры», опубликованном в 1904 году.

Проработав некоторое время в гимназии, он пришел к выводу, что существующие учебники ботаники отстают от уровня развития этой науки, а также и педагогики. Снязов пишет новый учебник — «Краткий курс ботаники», который выдержал три издания.

Снязов был последовательным дарвинистом. Пропаганда учения Дарвина была тогда в России официально запрещена, но, несмотря на это, Снязов строил свои уроки на его основе — за что, естественно, имел неприятности. Биограф сообщает, что в 1902 году он был даже лишен уроков естествознания и получил их только в 1905-м.

Разразились события первой русской революции. Снязов не был революционером. Но убежденный демократ, он не остался в стороне от событий, выступал на собраниях с резкой критикой властей. В результате последовали арест и административная высылка в Казань. Только через четыре месяца, благодаря ходатайству Западно-Сибирского отдела Географического общества, Снязов вернулся в Омск.

Преподавать в гимназии больше не разрешили, и Михаил Михайлович целиком посвятил себя научной и литературной работе. Он сотрудничает в «Степном крае», «Сибирской неделе», «Восточном обозрении», «Сибирской жизни», «Иртыше» и в других местных изданиях.

Его литературная одаренность несомненна: даже научные статьи

написаны легко и ясно, читаются с интересом. Поэтические опыты Сязова относятся к области так называемой научной поэзии. Например, в «Степном крае» он напечатал поэму «Из тайн мироздания», посвященную геологическому прошлому Земли. Поэма должна была выйти в виде приложения к журналу «Естествознание и география», но с этим не согласилась московская цензура.

В июне 1914 года Михаил Михайлович внезапно скончался. «Местный отдел Географического общества,— было сказано в одном из некрологов,— в лице Сязова потерял почти самого деятельного и образованного члена. Многие труды Сязова, изданные отдельно, сделали его имя известным в среде европейских ученых».

Стихи М. М. Сязова отдельным изданием не выходили. Они разбросаны по старым газетам и журналам Сибири. Вот отрывок одного из них.

В ИРТЫШСКОЙ СТЕПИ

Бедны степные дерновины,
Польны и злаки неярки:
Ковры цветов — краса долины,
Лугов, лежащих у реки.
В долину, в лог, на дно оврага,
Сухих долин покинув высь,
Ушли цветы: лишь там, где влага,
Они толпами собрались.
Весьма скромны степные розы,
Люцерна, астры, васильки,
Качим, гвоздика, скабиозы,
Дубравки синей колоски,
Шалфей, морковник, астрагалы,
Лангейка, ветрянка; на взгляд,
Цветов в степи не очень мало,
И все же тускл ее наряд.
Не огражденные дубравой,
Защитной сени лишены,
Не весь ли век степные травы
Вести борьбу принуждены?..

г. Омск

КОНЕК-ГОРБУНОК

Иван БАКУЛИН,
пенсионер, ветеран войны

Холодный декабрь 1942 года. В ногайских степях метет поземка — песок со снегом, катит шары курая — перекати-поле. Сорок второй полк 10-й гвардейской казачьей кавдивизии занял оборону в бурунах юго-западнее небольшого села Торосово.

К исходу ночи был построен легкий блиндаж с крышей из наката жердей, поверх которых уложен слой курая и песка, надежно защищав-

ший от пуль и осколков. Соорудили печурку с вытяжной трубой, затопили ее кураем. Уставшие саперы вместе с командиром взвода М. И. Пекло прилегли в блиндаже отдохнуть.

А под утро прибыл на КП заместитель командира дивизии гвардии подполковник Кириченко и приказал, чтобы офицер связи проводил его на передовую. Но офицер связи еще не вернулся с передовой, и командир полка майор Полеводов просил подождать: в бурунах очень трудно ориентироваться ночью. Однако Кириченко попросил дать ему сопровождающего, сказав, что он знает, куда надо ехать.

Сопроводить подполковника было приказано Михаилу Пекло, и тот послал коновода за конями.

О коне командира саперного взвода надо сказать особо. Несколько дней назад он лишился своего гнедого при бомбежке. И послал коновода Коваленко в ближайший ногайский хутор с наказом привести ему хоть какого-нибудь коня — запасных в полку не было. Коваленко привел нечто похожее на большую лохматую собаку, сказав, что у ногайцев лучшего ничего нет.

Когда Михаил седлал конька, тот покорно стоял, не шевелясь и опустив голову. Поместившись в седло, Пекло почти достал ногами землю. Но стоило ему подобрать повод, как конек сразу преобразился: закинул вверх голову и резво загарцевал на месте под дружный хохот саперов. Как только Михаил натянул повод и дал шенкеля, конек так рванул с места в полный карьер, что седок чуть не вылетел из седла. Несмотря на маленький рост, конек развил скорость под стать породистому скакуну. Повернув обратно, Михаил слегка натянул повод, и конек сразу с галопа перешел на иноходь.

— О це кинь так кинь! — сказал, похлопав конька, Коваленко. — Его ж не видно, як идэ, а вин такый швыдкий, що вы можете на нем на скачках брать призы. На нем добре и тикать, и догонять! Чого ж вам ще треба?

Пекло рассмеялся и сказал, что это не конь, а сказочный конек-горбунок. Эта кличка сразу пристала.

Заседлав своего конька, Пекло доложил, что готов в дорогу.

Ехали молча. Долго петляли в бурунах.

Уж рассвело, и туман стал рассеиваться. Пекло задремал. Конек перешел на иноходь и вдруг резко остановился. Дернувшись в седле, Пекло открыл глаза и не поверил сперва, что это наяву: впереди, перед траншеей, метрах в 10—15 от них, стоял немецкий офицер в каске. Одна рука за бортом мундира, нога выставлена вперед. Стоял и ухмылялся. А в траншее виднелись немецкие каски. «Как арбузы»,—

мелькнуло не к месту. Сонливость мигом слетела. Еще не соображая, что делать, Пекло инстинктивно воскликнул не своим голосом:

— Гутен морген! Вот мы и приехали! Свои! Не стреляйте, нихт шиссен! Нихт шиссен! — и успел спросить подполковника, не глядя на него: — Что делать?

Тот скороговоркой ответил:

— Ничего, ничего, ты направо, я налево! — и гикнул.

Резко дернув повод и дав коню шенкеля, Пекло рванул с места в карьер к бурунам. А через несколько секунд замолотили «шмайссеры», потом, перебивая их, раздалась лихорадочная дробь скорострельных пулеметов. Пекло отпустил повод, упал на шею конька и бормотал: «Ну, родной, выручай», — и почувствовал, что тот начал петлять, а пули вжимают над головой. Еще не веря полностью, понял, что они в бурунах — значит, спасены!

Стрельба прекратилась. Он натянул повод и, услышав сзади конский топот, обрадовался, но конь подполковника был без седока... Круп кобылицы был залит кровью, ленчик драгунского седла раздроблен очередью — торчали острые края его латунной обшивки. Михаил понял, что основной огонь был сосредоточен на подполковнике, а не на нем. Да и конек выручил, в считанные секунды доскакав до бурунов.

Подполковник Г. П. Кириченко в той стычке погиб.

А Пекло очень привязался к своему коньку. Это было на редкость умное и понятливое животное. Его не учили кавалерийским премудростям, не гоняли часами на корде. Но он очень скоро научился понимать и выполнять все, что обычно дается упорной и продолжительной тренировкой. Служил хозяину верой и правдой и не раз выручал во всех скоро последовавших тяжелых переходах и боях, когда погнались фашистские полчища, освобождая Ставрополье и Кубань. В грязь и стужу его косматые ноги обрастали к концу дня сосульками, и Пекло, хотя сам валился с ног от усталости, грел в ведре воду, отпаривал сосульки, жгутом соломы растирал коньку ноги досуха, при первой возможности старательно мыл и чистил его.

В боях под Ростовом саперы попали под шквальный огонь. Пекло был в штабной хате, а за хатой к дереву был привязан конек. Снаряды стали ложиться совсем близко. Пекло решил спрятать Горбунка в противотанковый ров. Но не успел: осколки очередного снаряда пришили по коню. Прикрыв собой хозяина, конек-горбунок второй раз спас его от смерти.

г. Каменск-Уральский

ГРАФСКАЯ ПРИСТАНЬ

Здравствуй, Графская пристань!
Я снова стою
На упругом дощатом настиле.
Узнаешь ли меня?
Я тебя узнаю —
Ты все та же —
В том блеске и стиле!
Так же чинно идет через арку патруль.
И хоть строги глаза лейтенанта,
На меня почему-то внимания нуль...
Может, в городе нет коменданта?
Впрочем, что я...
На мне нынче форменки нет.
Мой загар под пижонской рубахой.
Нет при мне
И моих восемнадцати лет.
И ремня нет с надраенной бляхой.
И давно в переплавку
Ушел мой корабль...
Я склонился к воде у причала
И взгляделся в себя...
...Пожалев меня,
Рябь
Набежала
И краски смешала.

НА МЫСЕ САРЫЧ

А. И. Шалимову

Когда встает
Туман береговой
И Сарыч красным от бессонниц оком
Просматривает на ночь
Сектор свой,
Я словно бы у Греции под боком.
Хоть говорят
На русском языке
Здесь и рыбаки, и водолаз, и стропаль,
Но что ни поворот на большаке,
То Херсонес, Форос или Кастрополь...
Двенадцать миль
От каменистых гор,
Всего двенадцать
Под моим дозором,
А там
Уже нейтральный коридор
И рандеву с есенинским Босфором...
...Крым,
Запустивший пальцы скал
В прибой,
Мне показался обрусевшим греком,
Задумавшимся над своей судьбой
И над грядущим
Двадцать первым веком.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Прощупав друг друга,
Как только могли,
При высверках вспышек сигнальных,
В нейтральные воды
Вошли корабли,
Чьи флаги отнюдь не нейтральны.
...Порою — полоска,
Порою — размах
Ничейных путей на полсвета.
Здесь вроде бы каждый
Уравнен в правах,

Владимир СИБИРЕВ

ПРИ РОВНОМ СВЕЧЕНИИ МИРНЫХ НЕБЕС...



Да понял по-разному
Это.
При ровном свечении мирных небес,
Безоблачных, как в Хиросиме,
Один здесь хоронит отходы АЭС,
Другой
Облучается ими.
Кого-то влекут парадоксы морей —
Теченья, ветра и глубины.
А кто-то здесь ищет места похитрей,
Где легче пристраивать мины.
...Жужжит гироскопас,
Вращается лаг,
Слух режут сирены, как пилы.
И лодки подводные рыскают так,
Как рыскают лишь крокодилы.
...Нейтральные воды подчас —
Полигон,
Живущий то в страхе, то в гневе.
И воздух над ними
Тягуч, напряжен,
Как переговоры в Женеве.

ЗАГОВОР ОДНОКЛЕТОЧНЫХ

Когда гнетет гипноз чужих радаров,
Остаться в чистых лириках нет сил.
К тому ж помимо ядерных кошмаров
Мне угрожают
Полчища бацилл.
Не тех, что со своим героем вместе
Под микроскопом созерцал Шукшин,
А тех, что при одном о них известве
Становишься белей, чем снег вершин!
...А как «культуру» пестуют...
Какие
Умы ей служат,
Чтобы во сто крат
Умножить завтра бедствия людские
При минимуме денежных затрат —
Планету, как питательную массу,
Бактериальным окропив дождем,
Не прибегая к «пущечному мясу»,
Посеять смерть
Искусственным путем.
...Искусственнее некуда,—
Ни грому,
Ни пламени —
Ты был и — нет тебя!
А враг твой одноклеточный
К другому
Уж устремился, жгутиком гребя.
...Понять стратегов этого порядка
Легко:
Солдат — не лучший материал.
А у микробов
Массовая хватка.
— Олл райт! —
Басит бригадный генерал.
Ни с пенсией хлопот,
Ни с наградами...
А главное — бациллам нет числа...
И горбятся над колбами чумными
Заложники осознанного зла.
Но не стряхнуть с Земли,
Как листья с ветки,
Венцы цивилизаций и держав.
Не может Мир,
Себя собой поправ,
Вернуться вспять
К первоначальной клетке.

ВРЕМЕНА ЮНОСТЬ

Михаил ОСОРГИН

Рис. Николая Мооса



Михаил Осоргин — ученик
Пермской гимназии

Я пытаюсь вспомнить о годах своей юности, хотя не очень ясно, что разумею под этим словом, какой отрезок нашей жизненной дороги. Как это никто не догадался делить жизнь на трехлетия или пятилетия, каждое со своим ярлычком, — не было бы путаницы и, главное, качества и настроения одного отрезка не позволяли бы себе вторгаться в неподобающую клетку. Как вы смеете, уже спускаясь по склону, уже почти спустившись, уже перед окошечком расчетной кассы ощущать себя моложе и жизненнее, чем полагается вашей категории? Моя зима все еще бесснежна, а головы тех, кто могли бы быть моими детьми, запорошены снегом. Они пытаются уверить меня, что на долю их поколения выпала тяжкая участь, что их незрелыми подхватил ураган событий, унес и выбросил на чужие берега и что это так рано сделало их стариками. Я верю им, сочувствую им, жалею их, хотя мое поколение пережило вдвое больше и в тысячу раз тяжелее. И я утешаю: молодость может вернуться, ведь это не возраст, а мироощущение! В жизни, духовно богатой, переживается несколько возвратов, и невосвратимо только детство, — но ведь не хотите же вы прыгать козлятами? И обратно: бывают люди без юности; их поезд минует эту таинственную станцию зарождения самостоятельной мысли и страстного наката неразрешимых вопросов. Пожалуй, в нынешней спешке прямые поезда удобнее и экономнее. Спешили и мы, но тогда еще не гнались за рекордами скорости, и техника была не высока.

Продолжение. Начало в № 1, 89 г.

Младенчество, ребячество, детство, отрочество, юность, молодость, возмужалость, взрослость, зрелость, возраст средний, почтенный, преклонный, старость, дряхлость, — что еще? Какое множество верстовых столбов! Подъем сложнее склона и богаче оттенками, и труднее всего, кажется, определить, где начинается и где кончается юность. Часов в десять утра я проходил аллеей городского сада, — в день праздничный, свободный от гимназических уроков, — сад был пуст, только что подметен сторожами, освещен косыми лучами солнца, приятен, свеж, голосист птичьими напевами. На повороте в боковую аллею меня остановила волна воздушной мысли — накат неожиданного, показавшегося великим открытием: цель жизни есть сама жизнь! Это могло явиться в долгом ходе скрытых и путаных размышлений, но могло свалиться с ветки липы случайным подарком. Я читал русских и иностранных классиков — ни один из них не дал мне этой простой формулы, хотя мог незаметно к ней подвести. С полной переживались драмы, помнились прекрасные ответы и умные слова, но детство, еще вчерашнее, не ставило ясного вопроса о цели и смысле человеческой жизни. Его выдвинуло утро и очаровало самостоятельностью, ниоткудаостью моего открытия: цель жизни в самом ходе жизни, в движении, а не в какой-то последней точке. И я не знал, что из учебников философии, мне еще незнакомых, ласково кивают старики разных веков и поколений, домыслившие то, что юноше шепчет утренний ветерок. Я был поражен и взволнован: как

это замечательно! Детство осталось за плечами — наступила юность. Дома не заметили, что вернулся уже не тот мальчик, который вышел в курточке сурового полотна, подвязанный ремненным поясом: явился новый юноша, предчувственник будущего, обладатель тайны, которая ляжет в основу строительства жизни. На мелком и быстром течении ручейка блеснули зернышки золота, потом опять набежал песок, — все равно; я уже видел малый свет, который дается новопосвященным.

Я не о себе пишу — какой смысл писать о себе! Я хотел бы даже писать не о мальчишке из северных лесов, будущем землепроходце. Если бы я не боялся аудитории (или — не жалел ее), я писал бы даже не о маленьком человеке, а вообще о существе, вступающем в жизнь. В живой природе есть существа без юности — и с длительной, непонятной для нас юностью. Есть отряды крылатых, которые, едва освободившись из кокона, уже делаются совершенными взрослыми особями — и летят скорее полюбить и погибнуть. Есть мушки, самцы которых подстерегают самок у выхода из небытия в бытие и, помогая им разорвать кокон, не оставляют им ни мгновенья девичьей жизни, а после кладки яиц уже стережет смерть. Есть мотыли, детство и юность которых длится семнадцать лет в земле в форме личинки, а жизнь взрослая, окрыленная меньше недели. Есть человеческие дети со старой душой, и есть старцы, доносящие до гроба, не расплескав, кубок молодых чувств, испытый до дна и все-таки полный. Став в сторонке, будто бы бесстрастный, а на деле взволнованный и смущенный величием жизни наблюдатель, страстью познания пьяный всебожник, мальчик, впервые попавший в кинематограф, — я, в сочетании чешуйчатых пятнышек, в отливках жучьей брони, в изгибах членистых тел, в зеленом лаке хлорофилла, бутонах, шипах, подземном и надземном всепожирании и всесотрудничестве, в полетах, ползании, стойком внедрении корнями, завидуя тысячеглазю мухи и антеннам последней букашки, — ищу понять и познать, как это случается, что просыпается семя и разматывается клубок жизни, у каждого свой, но единый в своем бесконечном разнообразии, роднящий меня с бактерией, мокрицей, плесенью, слонем и Шекспиром? О какой говорите вы цели, не зная не только причины, но и причины причин? О каком добре, не имея ни в пространстве, ни на земле, ни в себе самих точки опоры? О какой истине — кроме искомой и ненаходимой? Вглядываясь в эту жизнь со всею пристальностью, доступною хрусталику глаза, я вижу только вечный путь с цветным фейерверком символов, скользящих отметок на замкнутом круге, но я не вижу ни концов, ни начал, и в вихре нагромождающихся гибелей и кажущихся рождений я, к несказанной радости духа, в награду за его пылливость, не вижу смерти: ее нет! Сейчас я могу изложить это какими-то хоть и сумбурными, но внятными словами; тогда, в первый день моей юности, конечно, не мог — даже самому себе. Но если бы я мог сейчас испытать хоть сотую долю того счастья, какое дала мне тогда зарница непостижимой истины! Тогда она была свободной — сейчас оплетена беспомощной речью.

Мы говорим здесь о юности, о рождении сознания, — я не обещаю биографических событий, они нужны мне только для иллюстраций. Но я легко могу их выдумать. Так, например, завязав в узелок мое открытие, первую настоящую драгоценность, уже не

детскую игрушку, я отправился с нею по свету на поиски пробирной палатки. Где-нибудь, во дворце, в подвале, в музее или на бирже, должны быть абсолютные знания и абсолютные ценности; мне надобно знать, сколько золота в моем куске руды. Я был хорошо воспитанным мальчиком, и, входя в кабинеты мудрецов, я шаркал ножкой и вежливо показывал принесенный образец. Обычно мудрецы осматривали меня с ног до головы, бросая беглый взгляд и на то, что они принимали за игрушку, и, будучи очень заняты, отсылали меня к странице такой-то, строка такая-то общедоступного учебника, где подобное открытие было описано, доказано и опровергнуто, затем вновь подтверждено и оставлено под вопросом до следующего издания. Я пытался лепетать, что важно, собственно, в том, что это я, мальчик, открыл для себя самого, и что мне хочется, чтобы вместе со мной порадовались, и тогда они шутливо отсылали меня в столовую, где меня поили чаем со сладкими пирожками. Но как быть? У меня был только один гимназический приятель, Володя Ширяев, о котором я дальше расскажу; но Володя, конечно, не авторитет, он тоже — едва проснувшийся юноша. Я мог сослаться на отца, никогда не подкавывавшего мне формул, но научившего меня смотреть на облако и думать о воде, которая, испарившись, вернется в родственные ей камские волны. У отца были чины и ордена — может быть, это подействует на не оказывающих мне внимания мудрецов? Прошло много лет, как я ушел из дому со своим свертком. Полмира я, во всяком случае, обошел, с миллионом людей, во всяком случае, перекинулся словами; среди них оказались лишь единицы поэтов, обладавших тайнослухом и тайнозрением, способных созерцать с юношеской простотой и доверчивостью, так, чтобы новооткрытые Америки виноградными лозами сыпались прямо в наивно разверстый рот, чтобы сердце трепетало в лад со всей мировой жизнью. Их очень мало, время по карманным часам, нравственность по кодексу обязательных полицейских распоряжений. Их штанишки на помочах, их галстуки завязаны бабочкой, и все, что есть в них отличительного и замечательного, указано в их паспортах. Наученный долгим опытом, я привык не говорить о серьезном серьезно, чтобы не завязить ног в тягучем тесте их логических построений, и трехкопеечными парадоксами снискал себе доброе имя не слишком вредного шутника. Сверток юности моей остался нетронутым и нетленным, — его не нашли и не отняли даже при обысках. Поэтому мне не трудно, развязав узелок, ясно увидеть перед собой картины моей юности, не богатой событиями и отнюдь не счастливой. Я не думаю, чтобы я был исключением, и считаю пустой фразой первую строку фашистского гимна: *Giovinetzaprìmavera di bellezza*. Кто-то придумал и сказал, что юность — счастливейшая пора жизни; попугаи повторили, и понятие вошло аксиомой в наше представление. Юность — переход из богатейшего, цельного детского мира в угрожающую пустоту, которую очень немногим удается оправдать и заполнить не совсем скупыми и досадными образами. Юность — пора болезней роста — и тела, и сознания. Под грудой вопросов бьется и копошится маленький человек, руки которого непомерно длинны, ноги заплетаются, голова не имеет покоя; ломается его голос, и его уже беспокоит пол. Юношеское тело уродливо, — возраст,

по преимуществу обнаруживающий близость нашего родства с обезьяной. Не ребенок и не взрослый, обаянный быть и тем, и другим и не быть ни одним из них. Несчастный объект непонимания родителей и покушения педагогов. Сказки оказались вздором, внешний мир перестал стесняться показывать свою грязь; идола и идолычки с рекомендательными письмами настоятельно требуют остановить на них выбор; ни в одном возрасте так не сказывается власть запахов — черемухи, мускуса, гниения. Матери и сестры оказываются женщинами, отцы подозрительны по глупости и рабским привычкам. Внезапно выясняется, что у героев бывает насморк и геморрой, у писателей запоры, у богов наследственное тупоумие. И на ряду с этими страшными разоблачениями — органическая жажда жизни и тяга к познанию, которое лишь сахаринном посыпает бродящую мозговую мякоть и этим сладким обманом несколько притупляет горечь растущего в юноше сознания. Процесс почти столь же болезненный и мучительный, как рождение, — этот переход из спокойствия небытия в суетливый и, скажем по совести, неубедительно устроенный мир.

Чтобы пережить и перетерпеть эту ломку, нужна взаимопомощь. Я оглядываюсь по сторонам, — всякой формы носы, уши, волосы бобрком или с косым пробором, серые и голубые глаза, у некоторых намек на усы. С двоими братьями-близнецами, Андреем и Митей, меня соединяет в приятельстве легкомыслие: мы презираем девочек и ищем их внимания. Но я ухаживать не умею, я превеличиваю в скепсисе, в иронии и резкостях, боюсь быть неинтересным (худой, белесый, ни пушинки над губой). Мои приятели проще и пользуются успехом: здоровые, веселые, откровенно глупые, в форменных пальто серого офицерского сукна. Их можно различать только по родинкам на лице: у одного на сантиметр ниже, чем у другого; все черты, голос, походка, даже строй мыслей без малейших отличий. Они влюбляются в одну и ту же, а так как их нельзя не путать, то «ухаживают» они по очереди, и когда одному надоест, его замещает другой. Тогда это казалось мне забавным — сейчас большинство людей кажутся мне близнецами. В пятнадцать лет — мой первый роман. Неуклюже сталкиваются руки, пальцы жмут пальцы с боязливой осторожностью и в долгих прогулках (зимой ноги превращаются в ледышки) мы говорим обо всем, кроме любви. Но, расставаясь, мы обмениваемся записками, сложенными в комочек, где сказано все — и как сказано! С какими литературными оборотами, с какой глубиной чувств, с каким красивым обнажением души, непременно страдающей, непонятной, неудовлетворенной! Затем новая встреча, рукопожатие, разговор о пустяках, нравится ли вам Достоевский. Так как необходима трагедия, то однажды (в лермонтовский период) я говорю ей (не пишу, я прямо говорю), что я только смеялся: мое сердце не создано для любви. Правда, мне сказали, что она — уморительная толстушка и не может идти в сравнение с восьмиклассницей Тосей, так что я действительно разлюбил. Она съедает несколько серных спичек и подробно описывает мне (почтальоном ее сестренка), как ее спасли. Спичкам я не верю, но — «как мало прожито, как много пережито!» Я подал сочинение на заданную тему о русской женщине по Пушкину и Лермонтову. — сочинение размером в «общую» клеенчатую тетрадь, потому что уж женщин-то я, конеч-

но, достаточно знаю! Превосходная тема для шестого класса гимназии! Дрянь мальчишка — расшаркался перед героинями, отшлепал отчески и Онегина и Печорина. Что вы хотите: литература — особь статья, смешивать ее с жизнью не приходится. Получил пять с плюсом, и сочинение было прочитано в классе вслух. Братья-близнецы получили по тройке с минусом; а пятерку, кроме меня, только Володя Ширяев, создавший «неувядаемый образ» княжны Мэри (прямо на зависть!); я разработал преимущественно Татьяну. Из гимназии мы возвращались вместе, разговаривая просто и серьезно, как люди, друг друга способные понимать, и условились дважды в неделю читать вместе, начав с Шекспира. Мучительно стараюсь припомнить — почему с Шекспира, ну, почему именно с Шекспира? Одним словом — с Шекспира. Шекспир здорово пишет!

Сначала мы читаем Шекспира вслух по очереди, потом пробуем пустить «на голос», поделив между собою роли. Володя — представитель критической мысли, я — романтик, но по этим признакам не всегда легко делить роли, тем более что большинство пьес нам не знакомо. Женщин (как практический знаток женского характера) беру обычно я, хотя лэди Макбет исполняет Володя. Отелло тоже я. Гамлета мы проходим дважды; Володя в роли Датского принца хорош, но слишком язвительен, и во второй раз он берет на себя Офелию и Тень отца. Второстепенных мы разыгрываем по жребию. Я очень одобрен Володей в роли короля Лира — и весь следующий день брожу скорбно, седой, задавленный тягостью лет, так что мать предлагает мне лечь пораньше и выпить липового цветку. У нас только одна книга, и мы читаем сидя рядом, причем Володя близорук. При монологах один из нас овладевает книгой и может актерствовать, бегая с нею по комнате. Тень отца Гамлета забирается на стул — как-то правдоподобнее. Но случается, что мы оставляем книгу и отдаемся потоку мыслей, и вызывают их не сны, а какая-нибудь одна фраза, одно словечко этого изумительного Шекспира. В воскресенье мы идем на кладбище — сейчас же за городской заставой, среди хвойного леса. В дальнем его конце кладбищенский сторож одиноко ковыряет землю для новой могилы. Его зовут Трофим, и он не циник, как те могильщики, а набожный и добрый старик. Мы молча наблюдаем за его работой, ожидая, что вот-вот его лопата выбросит череп: «Бедный Иорик!» Каждому из нас хочется первым сказать эти слова, но черепа все нет. Володя говорит: «Мне нравится в Шекспире, что у него все герои высокого роста, то есть не прямо, а, вы понимаете, представляются такими великанами». Мы с Володей на «вы», а на «ты» я только с Андреем и Митей. Я говорю: «Шекспир чувствует страсть и замечательно изображает, а вот доброты в нем нет никакой». Могильщик Трофим говорит: «Вы, баричи, все тут бродите и смотрите, а видали вы змею на плите?» — «Какую змею?» — «Есть старая плита, ей годов сто ли, двести ли, на плите змея кольцом и много написано. Я, конечно, неграмотный, а люди говорят, что отец проклял дочь и про все ее дела написал. Вот какой был человек, непримиряющий!» Мы ищем и находим плиту. Она бронзовая и наполовину протравлена зеленою. Змея закусилась свой хвост, и в круге надпись церковнославянскими буквами. Поскольку мы способны разобрать, ни о каком проклятии дочери не говорится, и похоронен тут бригадир.

Года разобрать не удается, длинная надпись туманна, слова необычны и много выгравированных знаков: лестница, треугольник, слитые в пожатии руки, череп и кости, пятиконечная звезда. Плита наклонна, так как один ее край приподнят выросшим рядом с нею кедром, корни которого внедрились и под плиту. В своей старой части кладбище, бывшее раньше лесом, снова стало миром хвои и кустарника, часть могил затянута мохом, деревянные кресты уже давно сгнили и упали и уцелели только каменные и гранитные памятники и несколько часовенных склепов. Птицы, белки, заячьи покидки и холодок даже в солнечный день. Часто нога проваливается в старую могилу, давно осевшую, а рядом розовые колокольчики ползучей линией обвили двойной каменный скат — крышу вросшего в землю низкого шестиконечного креста. Володя наклоняется и смело поднимает землистого цвета предмет, может быть, действительно осколок черепной коробки, и я на всякий случай — про себя, шепчу: «Бедный Иорик». «Сделаю себе из этого пепельницу», — равнодушно говорит Володя, начавший в этом году курить. Я чувствую зависть к спокойствию Володи и тем же тоном прошу: «Позвольте мне на минуту!» — и когда он подает мне темный предмет, я с видом археолога и натуралиста, привыкшего к подобным находкам, откусываю край и, спокойно выплюнув, говорю: «Несомненно — истлевшая кость, вероятно, бывший череп». Всю дорогу меня потащивает, но все-таки я горд победой. Володя это чувствует и при расставании великодушно говорит: «Если хотите, возьмите себе».

Дважды, а летом и трижды в неделю мы читаем вслух русских классиков — да здравствует великий Маркс, не тот, бородастый прусский идол (о нем в девяностые годы мы еще не слыхали), а Маркс — издатель «Нивы», давший в приложении к ней все лучшее в русской литературе. Недостающее мы добываем в городской публичной библиотеке, где нам покровительствует стриженная библиотечка в очках, и писатели-художники чередуются с Белинским, Писаревым, Добролюбовым, — никак не можем найти Аполлона Григорьева. В гимназии мы слышем начетчиками, и учитель словесности сильно нас побаивается. Я сверх того иду за отменного чтеца и, выступая на гимназическом акте, читаю посвященные Екатерине стихи. Императрице подали пасквиль, в котором ее оскорбляли «как женщину, как мать», и она «пасквиль тот взяла и написала с краю: «Что здесь как женщины касается меня, я, как царица, презираю!» Голосом, бровями, всей фигурой я выразил такое величавое презрение, что меня подозвал попечитель учебного округа, почтивший своим присутствием наш акт, и, подав мне пальцы для пожатия, сказал: «Прекрасно, молодой человек, отличное стихотворение, пишите и дальше — у вас талант!» Я робко пробормотал, что это стихи не мои, а Алухтина. «Ну, конечно, знаю, что Пушкина, но прочитали вы прекрасно!» Володя решил, что если он провалится на экзамене в институт путей сообщения, то станет литературным критиком. Мне предстоял юридический факультет (отчасти в уступку желанию матери), но настоящая, мечтаемая дорога наметилась еще в седьмом классе, когда редактор петербургского журнала написал мне: «Милостивый Государь, ваш рассказ принят и пойдет в ближайшем номере. С совершенным почтением...» В этом рассказе, о котором ничего не знал даже Володя, молодая девушка упала

в воду и утонула, а ее отец сошел с ума и бегал с дикими возгласами по полям и лесам. В следующем рассказе предстояло матери зарубить топором своего грудного ребенка, а самой повеситься. Пока в одной большой приволжской газете была напечатана моя статья об оперном сезоне, а в местной нашей газете — трогательный некролог. Началось!

Как же могло быть иначе — страстная тяга сопричислиться малым звеньшком к великой цепи творящих. Писатель — существо необыкновенное, его читает и слушает вся страна и даже другие страны, и по смерти ему ставят памятник. Он, конечно, страдает, — ужасно страдает по всякому поводу, и без этого у него ничего бы не вышло. Его преследуют, гонят, потому что он обличает зло; но лучшие и избранные стоят за него горой и готовы погибнуть вместе с ним. Впрочем, мы читали и критиков, так что понемногу стали разбираться в ценностях: все-таки Лермонтов, знаете ли, не Пушкин! И зачем это Достоевский написал «Чужая жена и муж под кроватью»? Недаром мы начали с Шекспира! Мы не просто читали произведения, мы видели их авторов. Портреты, которые я в то время для себя создал, остались навсегда, — разве что Пушкин раньше казался мне брюнетом. Высокое почтение не служило препятствием некоторой фамильярности образов. Лермонтов, например, был почти что гимназистом, самолюбивым, задорным, но по натуре робким, больше всего похожим на Грушницкого, никак не на Печорина. И смерть его не казалась трагедией, как смерть Пушкина, просто пропал ни за грош из-за простой рисовки. Но зато когда он в своем новеньком офицерском мундире приподымался на цыпочки и пел — пелось вместе с ним и даже хотелось тоже писать стихи. Пушкин, наоборот, никогда не казался мне шутником, может быть, и потому, что на портретах он всегда серьезен. «Дубровского» мог написать только очень строгий и очень страдающий человек. «Капитанскую дочку» я часто перечитывал — и она мне казалась (и сейчас кажется) выше всего, написанного Пушкиным. И еще я думал, что Пушкин очень мучался своим малым ростом и обезьяньим лицом и что ему вот такому приходилось бороться с красивыми и высокими людьми и побеждать их умом и талантом. И зачем он женился на женщине, рядом с которой он казался смешным и безобразным! Наталья Гончарова была моим личным врагом, Володя относился к ней снисходительнее, хотя тоже не уважал. К Тургеневу мы оба питали искреннее расположение; с ним было просто, — улыбающийся и радушный человек, охотник, любитель природы; жаль, что он не бывал в наших краях и описывал какие-то благоустроенные лесочки с игрушечной дичью, но зато как описывал! В его романах герои были людьми слабыми, бесхарактерными, хорошо одевались и катались по заграницам. В Асю я был влюблен по-настоящему, и ее именем была названа моя лодка. На месте господина Г. я бы обшарил весь мир и Асю отыскал! Но поступил он с Асей, по-моему, очень благородно. Княжна в «Первой любви» мне не нравилась — ломака и неприятная особа. Но Джемма в «Вешних водах» могла соперничать с Асей. Обо всем этом Тургенев рассказывал с усмешечкой старого, вспоминающего человека, и вот таким писателем (темные брови, волны мягких седых волос, благородный взгляд) мне очень хотелось быть. Но у Достоевского в глазу — на всех портретах — нездоровая капелька, неблагоприятное

<лицо>, как у невыспавшихся или запойных. Достоевский приходил к нам, сидел подолгу, целыми ночами, и говорил много и дурно обо всех, заплетаясь языком, теряя слюну; когда же он начинал кого-нибудь хвалить, то сейчас же у этого человека обнаруживалась болезнь, и оба они извивались на полу в падучей или кашляли прямо нам в лицо. Несколько месяцев подряд мы читали двадцать четыре тома Достоевского, от «Бедных людей» до «Дневника писателя» — тяжелые месяцы моей юношеской жизни, полные первых нечистых мыслей, на какие ни один другой писатель не наводил; к счастью, мы читали его больше летом, в дни каникул, когда можно было купаться, а воздух закавказского берега смывал с души липкий налет. Великому Инквизитору читал Володя — резким взрослым голосом, и я проваливался в глубокий колодезь безнадежности и не мог выкарабкаться. Позже, уже студентом, я перечитывал Достоевского один, гораздо сознательнее, с увлечением, долгими ночами в московских студенческих Гиршах и Палашах, и тут, в нездоровом воздухе большого города, уже не боролся с ним, а плыл по течению мутных волн, пока опять тот же «Дневник писателя» не оттолкнул меня от него, зачеркнул в нем все, за что он признан мировым писателем. Я потерял веру в его правду — и расстался с ним навсегда.

Нашим любимцем, моим, по крайней мере, был в то время Гончаров, спокойный и чистый, уверенный рассказчик. Даже «Фрегат Палладу» мы одолели без скуки и усилий и не прочь были ехать с Гончаровым и дальше. Он приходил к нам без спешки, садился в большое кресло, перелистывал страницы своих книг холеными руками, и рядом с ним, положив ему на плечо голову, усаживалась Марфинька, а Вера всегда сидела поодаль, прислушиваясь и не произнося ни слова. Мы отлично знали, что бабушка — это Россия и что Волохов — озорной человек, только храбрится, а сам очень страдает, хотя сейчас мне трудно объяснить, почему нам тогда так казалось. Было странно, что Вера гораздо умнее Райского, со стороны которого было некрасиво бросать ей в окно букет белых цветов. Обрыв был поблизости от деревни Загарья, где в дни моего раннего детства мы жили летом (после смерти отца уже не приходилось), но барской усадьбы я не видал и не знал, — только по книгам, по Тургеневу, по Аксакову и вот теперь по Гончарову. Мысленно я стоял над обрывом и ждал возвращения Веры, чтобы сказать ей, что Волохов ее не любит и ее не стоит, что он просто очень самолюбивый бездельник и всему его оригинальничанью грош цена. Но вряд ли Вера послушала бы гимназиста! Вообще, я Веры побаивался, а на Марфиньку заглядывался, когда она ластилась к бабушке или прыгала козой.

Когда же приходил к нам неистовый Виссарион Белинский, мы слушали его с жадностью, особенно Володя, готовивший себя если не в инженеры, то в критики. Оценки Белинского казались нам непреложными и окончательными; на его щеках горел чахоточный румянец, и так же горели его слова. Он писал, лежа на диване, и в полуотворенную дверь были видны пришедшие жандармы. Он был человеком безолжи, судьбою строгим, умевшим восхитаться и готовым обрушиться за малейшую писательскую неправдивость. Мы одолели его том за томом — и это, вероятно, было самым полезным нашим чтением. Наученные им, уже не верили Писареву, человеку

холодного ума и злой мысли. И в нем, и в Добролюбова, и особенно в Чернышевском чувствовали какой-то отталкивающий душок, это были обиженные люди, не искавшие добра и желавшие непременно уколоть, посмеяться над лучшими. Некоторые их мысли вызывали нас на раздумье, казались смелыми и основательными, но только Белинский внушал нам полную веру, и только он сам казался настоящим поэтом. Вероятно, мы и не читали бы Писарева и Добролюбова, если бы одно упоминание их имен не вызывало ужаса на лице нашего гимназического словесника.

Мы читали не только русских классиков и критиков. Вообще, мы читали — вдвоем и поодиночке — катастрофически много, пользуясь тем, что гимназические уроки — кроме древних языков — не представляли для нас обоих ни трудности, ни интереса. Я глотал Диккенса, Володя Виктора Гюго, конечно, в переводах. Золя, в то время еще модный, нас не захватил, Бальзака мы просто не усвоили. Гете мы читали вместе, «Фауста» пустили «на голоса», но, кажется, напрасно затратили время. В последний год мы читали Толстого, — и все, раньше нами прочитанное, отошло на задний план. Если Володя еще мог о нем «рассуждать», то я был раз навсегда побежден и поставлен на колени. «Войну и мир» я перечитывал сейчас же, после прочтения нами вслух. То же было с «Анной Карениной». С большим трудом мы раздобыли «Крейсерову сонату», кажется, даже в гектографированном списке, так как в городской библиотеке ее не было. Моими любимыми рассказами Толстого были «Альберт» и «Холстомер», и их я знал чуть не наизусть. Толстой не приходил к нам, как другие; он царил где-то над нами, в величавых пространствах, громадный, босой, всеподавляющий. Даже с его героями нельзя было обращаться запросто, как с Обломовым, Райским, Лаврецким, как с Онегиным, Печориным и даже Гамлетом и тенью его отца. Герои Толстого были уже не людьми, а великими образами, и казалось невероятным, что вот через год я буду студентом в Москве и, может быть, пройду мимо дома, где зимой живет Лев Толстой; о том, что я могу увидеть и его самого — никогда не думалось; можно ли встретить Гомера или Шекспира? Я действительно никогда не увидал Толстого — огромный минус в моей жизни, незаполненная пустота, почти преступление, но не вина; я не видел также Байкала, ледяных торосов, устье реки Лены, не видал тигра на свободе, не подымался в стратосферу, вероятно, не увижу больше России. В юности Толстой был для меня величайшим открытием; его творчество и посейчас для меня кажется непостижимым; вижу, как пишет Пушкин, как творит литературный колосс Диккенс, но не могу увидеть, как из-под пера Толстого появляется маленькое слово «пожалуйста» Пети Ростова, что нужно для этого сделать, как это почувствовать, на какой бумаге изобразить, кем быть и каким образом после этого обедать, смотреть на людей бровастыми глазами, ссориться, отдыхать на лавочке в Ясной Поляне, а не вознестись попросту на небо и не посмотреть рассеянно на весь писательский мир с ближайшего облака. Впечатления юности остались в дорожном узелке, с которым я обходил мудрецов, — и расстаться с ними я не хочу и не могу. Все-таки совсем без богов жить невозможно, без чудес скучно, без чувств чрезмерных закинешь в грамматической бесспорной фразе. Лев Толстой был и остался российским чудом, весь целиком, великий,

несчастный, несуразный, каменная глыба, мужик и барин, поэт и корявый проповедник, брюзга и неустанный искатель истины.

До нас не доходили толстовские религиозные писания, и нашей веры он не колебал и не утверждал. Ее утверждала наша изумительная северная природа, ее расшатывала и уничтожала в нас гимназия. Моя мать была верующей женщиной, но верила она по-своему и несколько смущенно — для себя, никому не навязывая своей религии, даже детям; в церкви бывала редко, дома молилась уединенно, скромно выпрашивала у Бога разные нетрудные вещи для детей. Все, что в религиозном культе картинно, красиво и приятно, у нас соблюдалось: рождественские елки, троичные березки, пасхальные куличи, лампадки перед образом в правом углу, вкусные рыбные и грибные блюда в великий пост. Мы, дети, были верующими, поскольку это традиционно и не трудно, и поскольку не приходило в голову рассуждать. Искореняла религию гимназия, с ее обязательными посещениями церкви, молитвой перед уроками, преподаванием того, что преподаваться не может, и священным ужасом перед вопросами. Церковь была для нас привлекательна тем, что в нее приводили гимназисток; налево ряды наши — направо их. Мы красовались и переглядывались. Особым шиком было прислуживать в церкви, стоять в алтаре, выходить с кружкой и проходить по рядам гимназисток. Из алтаря было удобно поглядывать в щелочку, и мы пользовались разрешением посещать алтарь «для лучшего изучения церковной службы». Именно здесь юношеской вере наносился самый серьезный удар созерцанием закулисного неблаголепия. Шепча молитвы, священник время от времени, вытянув из-под ризы красный клетчатый, очень грязный платок, набивал нос табаком. Дьякон пальцем смазывал себе в рот из чаши остатки причастия, а палец вытирал где-то в тайниках своей сложной одежды. Постоянно случалось, что священнослужители переругивались, переходя вслед за тем на торжественный тон декламации. Приглядевшись к порядкам в алтаре, мы, со своей стороны, под руководством более опытных, покушались на бутылку с превосходным церковным вином, так как заготовленную «теплоту» обыкновенно тоже допивал сам дьякон. Но и вообще — трудно было проникнуться ласпостью службы, которую отправлял наш законоучитель, человек уже старый, неисправимый пьяница, сизоносый, неотесанный и исключительно глупый; кстати, ему поручалось и наше политическое воспитание, и иногда, хитренько нам подмигнув, он говорил в классе: «И еще бывают социалисты; это значит, что все твое — мое, а что мое, так это мы еще посмотрим». Мы его терпели, так как меньше четверки он никому не ставил, а на уроках отвечали ему, без стеснения читая по книжке. Разумеется, из озорства задавали ему вопросы: «Как мог Иона не задохнуться во чреве китовом?» И он неизменно отвечал: «Ежели Бог захочет, братец мой, так и ты кита проглотить и не поперхнешься! Для него это — пустяковое дело!» И если некоторые из нас дотаскивали до университета какие-то остатки религиозности — или, может быть, суеверия, — то причиной этого была потребность в поэзии, отзвуки веры детской, семейные традиции и прежде всего — целостность восприятия нашей прекрасной северной природы, полной нерасказуемых и непостижимых тайн. Порывая с ней —

порывали и с последними загадками примитивного детского мира, отвергая богатство сказки ради дешевки научной истины. Процесс естественный, законный, правильный, за которым, по мере роста духовной жизни человека, следует или не следует новое «хождение в алтарь» и отвержение нового жречества, но уже без возврата к прежней и наивной вере, в лучшем случае — строительство собственного храма неведомому богу или богам.

Мы поссорились с Володей из-за какого-то маленького житейского вздора. У него был злой язык, у меня опасная взвинченность нервов. Стойка произошла при свидетелях, и это осложнило положение. Будь на его месте другой, я бы, вероятно, вызвал его на дуэль, как и случалось у меня с другими гимназическими приятелями: мы дрались за городом на револьвере (был только один), заряженном порохом, но с резиновыми пулями; раненых не было. Но в наших отношениях с Володей полшутовство было неуместно: мы друг друга уважали и считали взрослыми. Было брошено несколько колких и вызывающих слов, сделавших разрыв неизбежным. Время было учебное, встречи ежедневны, но о примирении не могло быть речи. Только что перед этим мы начали читать «Разбойников» Шиллера, и очень хотелось продолжать. Сидя в классе на уроке физики, я видел, что Володя написал и изорвал записку; перед уроком я также написал и изорвал записку. Во время перемены я подошел к нему и, не обращаясь прямо, произнес в пространство: «Не думаю, чтобы личные отношения могли препятствовать культурному общению, впрочем — не знаю». Володя искривил губы презрительной улыбкой и ответил: «В известных вопросах я так же выше личных отношений, и если мой уважаемый враг готов, мы можем закончить «Разбойников». Располагаете ли вы временем сегодня вечером?» — «Оставьте при себе уважение, которое я не могу вам компенсировать, и в половине седьмого я буду иметь честь посетить ваш дом». — «Гарантирую вам гостеприимный прием», — ответил Володя, и мы повернулись друг к другу спинами. Оба мы испытали немалое удовольствие, что нас слышали товарищи: им не мешает знать, как должны поступать культурные люди. В назначенное время я был у Володи, мы ограничились вежливыми полупоклонами и в один присест, читая по очереди, отмахали «Разбойников» и поспешили начать другую пьесу. Получилось нечто вроде сказок Шехеразады: «... и на этом месте Шехеразада прервала свой рассказ, так как пришел рассвет... когда же наступила следующая ночь, Шехеразада продолжала: «Известно тебе, повелитель правверных...» Так продолжалось недели две, пока нас окончательно не примирил ожесточенный «принципальный» спор, так нас разгорячивший, что на прощанье мы по ошибке обменялись самыми дружескими рукопожатиями. А так как на этот раз мы забыли начать новую вещь, то на лестнице, провожая меня, Володя крикнул вдогонку: «Что вы скажете, кстати, о Байроне?» — и я спешно ответил: «Считаю его заслуживающим нашего внимания!» — «Тогда я возьму в библиотеке».

Мы не были начетчиками и, при всем увлечении литературой, не забывали о развлечениях, — времени хватало для всего. Нынешняя молодежь отдаёт много времени спорту, о каком в девятые годы мы не знали. В летнее время нашим спортом были

лодка и прогулки в лес; в зимнее — катанье на коньках; но, конечно, ни гонок, ни призов, ни иного рода соревнований. Еще процветал бильярд, игра гимназистам воспрещенная; Володя им не увлекался, но с другими приятелями я часами и днями (даже с рекордом двадцати четырех часов непрерывной игры) сражался в маленьком кабаке у Левушки, жадного и очень набожного старичка, жившего доходами с гимназистов. Бильярд был похож на сильно подержанную таратайку, нужно было знать все его уклны и личные качества, и я гордился тем, что дважды, играя в «пирамидку», взял партию «с кия», не дав удара противнику. Я очень благодарен бильярду: он спас меня от иных, менее невинных юношеских развлечений, процветавших в затхлой гимназии провинциального города. Но больше всего благодарен лодке, с которой был связан тесной дружбой с детского возраста; река была для меня едва ли не большим, чем семья, чтение и даже мои литературные опыты, была моим счастьем и моей философией, всем тем, чем для страстного летчика должен быть воздух. Простившись с рекой, я простился не с одной юностью, также и с чистотой и ясностью созерцания, с безошибочностью ответов, с первым ощущением движения, как самоцели, с радостным бытием в вечности. Взмах весел — как взмах крыльев, ветер не угонится за дыханьем, все движется, вырастая и умаляясь, между зеленой глубиной и голубой вьюсь летит свободная душа, рассекая воду и воздух, и это и есть правда, это и есть творчество, раскрытие тайн вверх и вниз, ясное, всеутверждающее «да», отрицающее землю, в которую так больно врастают ноги. Я не знаю музыки чище и совершеннее журчанья воды у бортов маленькой лодки — на величавой Каме, моей крестной матери. Как жалко, что уже все слова сказаны и написаны все поэмы! И что не скажет нового даже тот поэт, влюбленный в свою стихию, который, бросив весла и встав во весь рост, просто ввергнется в ее объятия и там, на глубине, всеми легкими вдохнет холодную влагу — ради восторга и смерти.

Приятно иметь право и не иметь боязни впасть в некую восторженность, вспоминая о фетишах своей молодой жизни. Нам это разрешал Белинский и строго воспрещал Писарев; тайно сочувствуя первому, мы побаивались второго. В сущности, ничто с тех пор не переменилось: на страхе чувств стоят надзиратели, подымающие белую палочку и дающие свисток, если машина слишком разогналась. Именно на рубеже веков — моя эпоха — появилось обязательство крахмальных воротничков для слишком вертлявой шеи: «не говори слишком красиво!» Это было, вероятно, необходимо, так как тургеневские «Сенилия», стихотворения в прозе, слишком пополнились подражаниями. Поэты пушкинской эпохи могли бросаться с рыданиями в объятия друг друга, но тогда еще не носили быстро промокающих от дружественных слез жилетов. Мы уже учились быть сдержанными во имя «художественной меры», т. е. своеобразного ее понимания, позже ставшего требованием нерушимого закона: наступил ледниковый период холодной чеканки стиля, изображения чувств подбором гласных и согласных. Но — чтобы и дальше говорить метафорами — человек, приучивший себя днем к корсету, даже и ночью боится свернуться калачиком. Нужно было много пережить, чтобы опять обрести право восклицать, когда воск-

лицается, и не бояться классных дам от художественной литературы. Законы искусства остались — если есть у искусства законы, — но чувство освободилось от крахмала. Я говорю это не для оправдания (перед кем?) выпадов собственной несдержанной лирики, а просто — вспоминая бурю и хаос мыслей, в которые ввергла насчитательская страсть; я испытывал это особенно остро, так как рано начал писать и теребить волосы в творческом недуге. С одной стороны — «сталь мысли», с другой — сердечная требуха, и примирить это — ох, как трудно! Между моим первым романом написанным и первым напечатанным — расстояние в тридцать лет. Это объясняется, по-видимому, хорошим уроком, мною полученным в юности.

Редактор петербургского журнала, напечатавший мой первый рассказ, отравил мою душу «милостивым государем». Роман был неизбежен, и я писал его со всеми полагающимися надрывами, с вдохновением, разочарованием, отчаянием, всеми видами мук творчества. Совершенно не помню содержания, но любовь, кварц и неестественная смерть там, конечно, присутствовали. Не думаю, чтобы роман был велик размерами, и не утверждаю, что он был окончен, когда я почувствовал потребность прочитать его вслух бесстрастному критику. Впрочем, я искал, очевидно, не столько беспристрастия, сколько сочувствия, «понимания», и потому избрал слушателем не Володю Ширяева, способного на безжалостный анализ, а более интимного друга, Андрея, одного из близнецов, партнера по бильярдной части и по женскому вопросу. Андрей был польщен выбором и обещал мне самый искренний отзыв, даже если пришлось бы со мной поссориться, — польщен потому, что я предпочел его «начетчику» Володе. Он обещал мне также хранить тайну, пока, он был уверен, мой роман не прогремит на весь мир. Мы назначили день, и я обеспечил ему бутылку пива, икряную воблю и баранки — лучшие лакомства для торжественных случаев.

Вечер. Мое место за столом у керосиновой лампы; Андрей пристроился на моей постели, чтобы не мешать мне сосредоточиться, не быть в поле моего зрения; бутылка, стакан и тарелка с нарезанной воблей в его распоряжении — на стуле. Комната хорошо натоплена, за стенами мороз. Рабочий медленно опускает занавес. Просят лиц посторонних не вмешиваться и, если им хочется, — слушать издали, ничем не выдавая своего присутствия. Керосиновые лампы, вырезывая во тьме конус света, уделяли потолку только слабое мерцанье, чтобы там могли кружиться тени — милые существа, навсегда загубленные электричеством. Если в комнате обитала муха, решившая пережить зиму, то она садилась на потолок в центр бледного светового круга, конечно — вверх ногами, но ей это было совершенно безразлично. Тени сгущались к краям круга, упражняясь в неслышном танце, иногда разбегались по углам и попадали там в паутину. Но это только игра, пауки их не трогают. Пушкин, в длинном сюртуке, с тетрадкой в одной руке, жестикулируя другою, читает стихи другу Дельвигу или Арине Родионовне, которая вяжет чулок. В богатой гостиной ближе к столику, за которым сидит Гоголь, расставлены кресла, мягкие стулья и пуфы для дам, дальше — приглашенные, все — избранные люди, состоящие при литературе, и хозяин знает,

что его вечер некоторым образом исторический,— Гоголь в ударе, читает прекрасно, и его пробор расчесан аккуратно. «Ты понимаешь, тут многое еще не отделано, и я сам не уверен...» У Андрея крепкие белые зубы, и он так вкусно чавкает воблу, что слышно, как похрустывают перекусываемые ребрышки; значит, икру он уже доел — плотную, красную, с желтоватой оторочкой жира. Буль-буль-буль из бутылки. «Я не позволю,— крикнул он, ударив кулаком по столу,— я не позволю, чтобы моя дочь, нежное, невинное существо, стала женой развращенного человека!» Мать сидит через комнату от нас и, вероятно, раскладывает пасьянс; она привыкла к тому, что у меня поздно, иногда за полночь слышится чтение вслух, ей нравятся, что мы такие умные, развиваемся,— скоро и в университет. «Петр схватил ее за руку и хотел привлечь к себе, но холодный взгляд молодой девушки сразу его отрезвил, и он разжал пальцы, услышав спокойной произнесенное слово — «никогда!». Андрей перестал чавкать и поставил на стул стакан. Разве они, люди быта и маленьких делишек, разве могут они знать, что испытывает художник, когда в уже совсем готовой картине ему не удается последний мазок кисти, заключительная точка, которая вдруг оживит и осветит все — и тогда на полотне заиграет жизнь, и оно оторвется от мольберта и улетит ввысь, в мир недостижимый, лишь ему одному доступный! Вот тут — я сам чувствую — тут не то что бы фальшь, а какое-то напрасное подчеркивание, слишком парадное слово, уже не перечувствованная правда, а желание понравится читателю, и если взглянуть ему в глаза, то увидишь его недоброжелательную усмешку. «Заломив руки, как птица, готовая улететь, Ольга вытянулась всем телом... Господи, какие же у птицы руки! И она уже дважды вытягивалась на протяжении одной страницы. Хоть бы Андрей крикнул или чем-нибудь выразил... Однако он перестал пить и есть как раз на самом сильном месте, стоявшем мне больших волнений и переживаний. Я приближаюсь к сцене, при перечитывании которой не всегда сам мог сдержать слезу, и я боюсь, что мой голос в этом месте сорвется,— автор должен быть бесстрастен. Огромный зал замер, каждое слово чтеца звучит, как чеканное золото; его голос сух и отчетлив, как удары молотка, и когда Ольга, застигнутая лесным пожаром, в пылающей одежде, споткнулась о ствол павшего дерева,— голос чтеца не дрогнул, но по рядам слушателей прокатилась волна вздохов — и в дальних рядах послышалось сдержанное глухое рыданье. Захлопнув тетрадь, молодой автор встал и, небрежно поклонившись, стал спускаться с эстрады. И лишь когда он взялся за ручку двери, ведущей в комнату артистов, в зале раздались бешеные рукоплескания, постепенно перешедшие в ровное посапыванье. Возможно, что Дельвиг посапывал и раньше, но поэт услышал это, лишь закончив чтение лучшего, что он написал. Шатаясь от усталости и пережитого, он подошел почти вплотную к низвергавшемуся со скалы водопаду и подставил свою разгоряченную голову. Это его отрезвило, и он, не взглянув на спавшего Дельвига, прошел в комнаты Арины Родионовны. «Ушел твой приятель?» — спросила она и, взглянув на меня поверх очков, которые она теперь надевала при работе, сразу поняла, что ее большой мальчик чем-то огорчен. «Уж не поссорились ли вы?» — «Нет, мама,

Андрей еще здесь, он, кажется, заснул». — «Ну вот, зачем же вы так утомляетесь!» Маленьким пресс-папье, почкой уральского малахита, она разбила кедровый орех и положила в рот зернышко. Это всегда было ее любимым лакомством. «Постой, а как же он спит? Нужно бы послать ему на диване в столовой, я сейчас дам простынь». — «Он не останется ночевать, и ты вообще не беспокойся». Автор «Мертвых душ» склонился над рукописью второй части. Развернув ее, он прочитал несколько строчек, затем схватился за голову и стал раскачиваться с мучительным стоном. В печке был еще огонь. Он открыл вьюшку, и угли в печке сбросили пепел и приветливо засветились. Не оглядываясь на стол, он протянул руку, взял рукопись и бросил ее на угли. От жара заворотились первые страницы, затем вся рукопись вспыхнула сразу веселым огоньком. Свет ударил в лицо спавшему, и Андрей, сладко потянувшись, сказал: «Ну, как, кончил? А здорово, знаешь, написано! Ты не думай, я все слышал. Не хуже Лажечникова, ей-богу!»

Описать в романе клокочущую страсть — это ведь совсем не трудно! Есть столько превосходных литературных образов, столько приемов, столько прилагательных! Картины падения в то время заменялись двумя строками точек, а подробно описывались только нравственные страдания. К своему стыду и счастью, должен признаться, что мои собственные понятия о падении были чрезвычайно туманны. Теоретически технику падения я, конечно, знал — среди нас были «падшие», но никак не мог совместить ее с чувством любви, которое должно быть трепетным и высоким. Тут была неувязка. На любовь бросалась некая тень: очевидно, любовь не очень приличное чувство, и признаваться в нем не следует. В восемнадцать лет я был уже много раз влюблен, но, черт возьми, поцелуй и мне не были ведомы. Мне кажется, что один раз я поцеловал руку Катеньке, хотя боюсь, что я только задел ее нечаянно, даже не губами, а щекой. Впрочем, я держался так, будто все это мне не только известно, но и порядочно прискучило. Из-за Катеньки я и дрался на дуэли — из-за гадких слов о ней и обо мне. Когда мне было девять лет, моя старшая сестра — на восемь лет меня старше — выходила замуж. Я был очарован ее женихом, казавшимся мне идеалом мужчины. Однажды вечером, когда меня уже уложили спать, хотя у нас были гости, в мою комнату, освещенную лампадкой, тихо вошли сестра и ее жених, вероятно, им хотелось остаться вдвоем. Они сели на стулья против моей кровати и стали шептаться, боясь меня разбудить. Но я проснулся и смотрел на них с интересом. Вдруг жених быстро обнял сестру и хотел ее поцеловать; она ловко увернулась и погрозила ему пальцем, а у него, как мне показалось, отвисла губа и лицо стало противным; жениху сестры было уже за тридцать, ей семнадцать. Потом они ушли, хотя он пытался еще задержать сестру в полумраке моей комнаты. С этого вечера я перестал его боготворить и уклонялся от его шуток и ласок. В любви есть что-то стыдное. И действительно, над влюбленными насмешек гимназистов был наш учитель немецкого языка. Шмидт, или Фукс, или еще как-нибудь, который был безнадежно влюблен в пухлую немочку, дочь учителя женской гимназии. Он был так влюблен, этот риж-

ский немчик с тараканьими усами, что плакал, читая нам вслух стихи Шиллера и Гейне, и вытирал глаза платком, надушенным немецкой гадостью. И случилось, что я стал соперником — совершенно помимо своей воли; на гимназическом балу я танцевал с его любовью, и она не заметила его почтительного поклона. Он не только приревновал меня, но и искал случая меня оскорбить и унижить. Случай подвернулся легко, так как я терпеть не мог и отвратительно знал немецкий язык. Он стал ко мне придирается, вызывая всякий урок, передразнивая мое произношение, и однажды, расплавшись, велел мне выйти к классной доске и стоять около нее до конца урока. Это было настоящим оскорблением, потому что меня никогда никто не наказывал, даже в младших классах; одна такая попытка кончилась моим нервным припадком. Но поставить к доске восьмиклассника — это вообще было дерзостью. Я побелел и холодным голосом Ольги из своего уничтоженного романа сказал: «Я вызываю вас на дуэль и убью, как таракана!» Затем я медленными шагами вышел из класса и ушел домой. Из этой истории победителем неожиданно вышел я. Немец заявил директору, что честь заставляет его принять мой вызов на дуэль. Директор схватился за голову, вызвал меня и, догадавшись о моем настроении, торжественно мне обещал, что Фукс оставит меня в покое и будет спрашивать у меня урок только один раз в четверть и в тот день, когда я подам ему знак, «приветливо кивнув головой». Такое пристрастное решение было вынесено, очевидно, потому, что я, считая свои корабли все равно сгоревшими, подтвердил директору свое намерение убить в честном бою немецкого учителя. Условие было соблюдено, и в первый выбранный мною день я отбарабанил Фуксу вызубренную наизусть «Перчатку» Шиллера, — мы, черт возьми, знали, что такое рыцарство! А он-таки женился на своей немочке, — в конце концов, симпатичный и невиннейший таракан! Уже студентом я был на его свадьбе, мы выпили брудершафт и пели гортанными голосами охотничью немецкую песню про старый лес.

Меня отвлекают эти сценки, но, может быть, они лучше расколоты поведают о жизни чувств, о том, как слагаются в душе юноши представления о самом серьезном в нашей жизни — о любви к женщине, о любви вообще. Могу ли я удержаться от скромного образа любви материнской — постоянная забота издали, чтобы не стеснить юноши, которому хочется казаться взрослым; скрыванье бедности под белоснежно-чистой скатертью; неназойливая чуткость робких советов, как будто случайных, но всегда вовремя и кстати. Надломленная личным горем, потому что она не может забыть того, что для нас, молодых, быстро тушется интересами жизни, — для семьи держится прямо, блюдет достоинство, твердо надеясь, что вот и оставшиеся при ней дети выйдут в люди, и тогда она замкнется в мир воспоминаний, тихо старея и готовясь отбыть для встречи с человеком, любовь которого определила ее жизнь. Когда умер мой отец, мать была — или казалась — еще совсем молодой, без единой морщинки, единого седого волоса, хотя уже была бабушкой. Такою же процарилась еще десять лет, несмотря на много горя, доставленного ей детьми, о чем не рассказывается. С утра в корсете, упрямая институтка, всегда одетая с изящной простотой,

приветливая с гостем и прислугой, строгая и важная в отношениях с людьми, перед которыми другие заискивали, она ни перед кем не призналась бы, что ее сердце источено горем и что она безмерно устала жить. Такою она осталась и одна, когда я, последний из детей, уехал в Москву; приезжая на каникулы, я находил ее такой же выдержанной, готовой интересоваться всем, что занимает ее детей, читавшей столичные газеты и журналы и по старой привычке ежедневно занимавшейся четырьмя иностранными языками — французским, немецким, английским и польским, знания которых она не имела случая применять на практике в провинциальном городе. Она состарилась в один год, даже в одну зиму — и умерла в тревожном пятом году, узнав, что я в тюрьме и мне угрожает казнь. Она уже была больна, и для меня нет полной причинной связи двух событий; но сыну, понявшему материнскую любовь, не поставят в вину того, что он в своей памяти, рядом с этой любовью, записал и чувство непримиримости к тем, кто, как собственностью, швыряется человеческими жизнями. Непримиримости навсегда, до сего дня, до смерти.

Я много раз замечал, что о наиболее отдаленном, о детстве, вспоминается с полной ясностью, какой годы юности не дают. Тот простой мир зарисовался домиком, елочкой, игрушкой, зайцем, у которого одно ухо опущено, горем, сверкнувшим молнией, — и опять небо ясно и мир улыбается — маленькой, любимой, единственной книгой, шуткой отца, первой выпиленной рамкой из крышки сигарного ящика, вообще всем тем, что отчетливо своей первостью и дальше уже неповторимо в такой же радости. Мы часто, шутя, говорим детским языком — и никогда не подражаем ломающемуся голосу юноши. Помнятся сказки — и не помнится пора их крушенья. Рисунок путается и теряет чистоту красок. Дым из трубы уже не вьется штопором, у собаки хвост не загнут колючком, у первого портрета нет египетского глаза и турецкой брови, негнущаяся рука не растопыривает кисточкой длинные прямые пальцы. Образы юноши хотят быть возможно реальнее в своем шаблоне, и в них перспектива уже убывает прекрасным иероглифом изображений. Детский карман наполнен первичными ценностями личного значения: найденной пуговицей, закушенным яблоком, бабкой, мелом, огрызком карандаша, свистулькой, самостоятельно вырезанной из вишневой ветки; но юноша уже несет чемодан или швейцарский мешок с набором усвоенных истин, алфавитом склонностей, коллекцией дешевых парадоксов. Ему подобает быть немножко циником, забегать вперед в отрицаниях, прислушиваться к росту волосков на верхней губе, мечтать о пенсне и тросточке, символах зрелости. Моя ранняя молодость протекала в сравнительно счастливое время, когда не было кинематографов и площадок для отбивания головой кожного шара, не было даже велосипедов; недотяпанность и простота провинции была по крайней мере цельной и не оползлялась мировым экраном, газеты не заманивали авантюрным подвалом. Не избалованные выбором, мы читали лучшее, что было в русской литературе, потому что оно раньше и проще всего попадало в наши руки. Но что давало нам увлечение литературой? Искусственные образы, прикрашенное словесными узорами изображение идей и чувств. Мы любили по Пушкину и страдали по

Достоевскому, выписывая закругленную фразу там, где естественен только крик радости или горя, привыкая к прописям раньше, чем в нас слагался собственный язык для выражения нами открытых чувств. Может быть, это вообще неизбежно в культурных общественных рядах, где кустарник и деревья непременно стригутся под гребенку — и сад предпочитается лесу. Но я все-таки жалею, что гимназия, город, литература отвлекли меня от природы, которая в ранние детские годы, особенно в летнее время, заполняла мой мир целиком; жалею и о том, что мало знал окраинные улицы, быт бедняков, желтый дымок спичечных фабрик, которых было несколько в наших окрестностях, и только раз побывал на пушечном заводе, где директором был отец моего одноклассника. Не знаю, ясно ли я выражаю свою мысль: мы несравненно лучше знали жизнь по романам, чем по личным с нею встречам. Вероятно, потому образы моей юности так бледны и так охотно забылись, и иногда мне кажется, что прямо из ребячества я попал в университет. И потому я упрямо минуя гимназический быт, о котором другие рассказывают так красочно и так хорошо. В моей памяти отчетливо сохранилась только одна картина — не столько в фактах, сколько в отголоске пережитых ощущений, и это — картина какого-то странного патологического массового взрыва, безрассудного бунтарства, вероятно, вызванного припадком безнадежной скуки и жажды чего угодно, но только нового, хотя бы катастрофы.

Могла быть латынь, воображаемая прелесть «Георгик» Виргилия или могло быть то, что у нас называлось физикой, — зубрежка формул без ясности смысла, без опытов, без общего понятия о месте этой науки в неуклюжей и закоптелой хранилища наших познаний, тягучий и трудный вздор, безграмотно изложенный усталым пьянчужкой и повторенный нами. Могла быть всеобщая история, в которой что-нибудь восклицали проглотившие шпату императоры, и не было ни народов, ни страстей, ни революций, ни движения вперед, только листанье страниц с отметкой крестиком да мельканье годов и имен. Могла быть даже словесность, в которой прасол Кольцов был так же велик, как вчера был Крылов и завтра будет Гоголь, тоже родившийся в таком-то году и уже в раннем детстве почувствовавший свое призвание, а потом начавший творить писанные чудеса. Во всяком случае был еще один нудный гимназический день в комнате со спертым воздухом и запахом крысы в испачканном мелом вицмундире. Могло быть все, кроме молодости и живых интересов, кроме правды, понимания и хоть сколько-нибудь живого слова. Потом был получасовой перерыв — принесенные из дому завтраки и продажа в коридоре мясных двухкопеечных пирожков. Так было с первого класса — и мы дотягивали восьмой.

В перерыве между уроками один из нас, — это мог быть и я, мог быть и не я, мог быть здоровый, больной, каторжник, герой, идиот, умница, безразлично — один из нас, руки в карманах, не зная, что делать, запеть, запить, плюнуть, утопиться, подошел к черной классной доске, орудию пытки и экрану бессмыслицы, и ударом каблука отшиб нижний колышек, на котором гильотина держалась в своей рамке. За минуту до этого ни у него, ни у всех остальных не было в мыслях разбивать плотину нашей мутной реки и взрывать тюремные стены. На

треск повернулись головы, веколыхнулась дремота, и молча, как по уговору, все стали бить ногами черную доску. Она оказалась белой внутри, и она была разбита не на куски, а в малые щепы. Кто-то, на чью долю не выпало отвести душу сильным ударом, красный от натуги, выламывал железную дверцу изразцової печки, другому силачу удалось отковырнуть кирпич, — и голыми руками, спеша и ломая ногти, мы в несколько минут разнесли печь, разбили и сорвали с петель стеклянную дверь, столик, кафедру и принялись ломать ученические парты. На грохот сбжалась вся гимназия, и мальчики восторженно и понимающе смотрели на разрушение, которое уже не могло остановиться — Бастилия должна была пасть. Похмельные и ошалелые, в разорванных блузах и с исцарапанными в кровь руками, мы вышли в длинный коридор, очищенный классными наставниками, которые также все попрятались. Даже в швейцарской не было сторожа, и мы, одевшись, разбрелись по домам, не обсуждая и не оценивая, что и почему произошло. Но мы и сами ничего не понимали. Я помню только одно, что на другой день я пошел в гимназию и что там были в сборе почти все мои одноклассники, притихшие, но спокойные. Мы могли ждать любой кары, но почему-то у всех была уверенность, что в этом положении и у нас, и у нашего начальства выход один — притвориться, что ничего не произошло. Разрушенная классная комната была заперта; для нас, восьмиклассников, был отведен физический кабинет. Уроков не было — никто из учителей к нам не вошел. Малыши смотрели на нас, как на героев, в шинельной сторож помогал снимать пальто, чего никогда не делал, попавший мне навстречу в коридоре классный надзиратель первым вежливо поклонился. В конце первого часа, бывшего для нас свободным, вошел к нам инспектор гимназии, единственный человек, которого мы уважали, умный, видный человек, хотя мрачный запойный пьяница. Видимо, он не приготовил речи и не знал, с чего начать. Помявшись, он угрюмо пробормотал, что сегодня занятий не будет, но хорошо бы с завтрашнего дня спокойно приступить к урокам, потому что не за горами и выпускные экзамены. Уже двинувшись к выходу, он прибавил: «Что случилось — то случилось, и уж лучше, и для вас и для нас, об этом не болтать». Мне показалось, что у него дрогнула скула, и все мы были смущены. Наш бунт, большой, бессмысленный, ни против кого лично не направленный, был замолчан и забыт. О нем, конечно, говорили в городе, но в «округе» или не узнали, или не захотели знать, — класс был на выпуске, и скандал был бы чрезмерным.

Мне странно вспомнить, что только эта страничка гимназических воспоминаний осталась в моей памяти как событие значительное — я бы сказал — светлое, гроза, очистившая воздух. Не будь ее — мы вышли бы из стен «казенного заведения» угрюмыми и мстительными юношами, не способными на прощение; сейчас я готов допустить, что не все и не всегда в нем было отвратительно и что какую-то крупницу признательности я все же могу к нему чувствовать, хотя бы за то, что оно научило меня не делать ошибок в словах с более не нужной буквой «ѣ» и катать наизусть «Слово о полку Игореве». В частности, я сохранил уважение к угрюмому, давно-давно покойному инспектору нашей гимназии.

На нижней поверхности древесного листа — белое пятнышко, ряд вскрывшихся восковых пузырьков, в каждом крохотный жучок. Иногда этот выводок расплозается, но при первой тревоге все сбегается в кучу и прячется по своим ячейкам. Таков же выводок паучков, рыбок, похожих на прозрачные стрелки, цыплят — на золотые шарики. Приходит какой-то момент, кучка разбредается, и один не хочет больше знать другого. Однажды мы выпускали в лес ежат одного помета, живших у нас в комнате и спавших вместе в тулье старой шляпы, наполненной сеном. Уже подростки ежики немедленно разбрелись по зарослям вереска и можжевельника в разные стороны, даже не попрощавшись: хотелось им крикнуть: «Слушайте, ведь вы можете больше никогда не встретиться! А встретитесь — не узнаете друг друга, братья сестер и сестры братьев!» Приходит день, и юноши, восемь лет просидевшие рядами в одной душевной комнате, зубрившие одну и ту же нелепость, разбившие в щепы и мусор и эту комнату, и эту нелепость, быстро разбегаются по свету и теряют друг друга из виду. После, уже случайно, сталкиваются в потоке жизни отдельные щепочки и делаются впечатлениями. Андрей и Митя оба стали врачами. Толстый, лысый, обрюзгший, протухший карболкой лаборант говорил мне: «Да так, ничего особенного, живу; одно могу тебе посоветовать, если еще не поздно: не женись, брат, не стоит!» Случайно, на ученом диспуте совсем не по моей части, подходит близорукий и добродушный человек, профессор геологии, и спрашивает: «А не из одного ли мы с вами города?» — «Мне ваше лицо как будто тоже знакомо!» — «Ну, седина меняет человека, а вот классную доску мы, пожалуй, разбивали вместе» — «Очень, очень рад встретиться, — говорит крупный человек с отличным брюшком, — да вот, как видите, учу сограждан уважать законы страны. А как вы?» С трудом припоминаю, что это — Петька, отчетливых лентяй и болван, кое-как дотянувший курс. В журналах стихи и проза за подписью знакомой фамилии, не часто встречающейся. Но неужели это тот самый, мой сверстник и одноклассник? Если бы я хотел предсказать его судьбу, я отвел бы ему теплое место в акцизном управлении или пустил его по учительской части в дальнем губернском городе, женил бы его на доходном доме, но искусство... Я вчитываюсь в его творчество, захоплюваю книжку журнала и отвечаю: да, это он!

Три-пять встретившихся еще раз в жизни имен — из нескольких десятков. С одним мы не расстались и в студенчестве, делили комнату на Бронной, делились и обеденными купонами студенческой столовой. Однажды мы пошли на сходку в старое здание университета. Я выдержал час, но больше не мог: у меня был приступ разочарования в защите чести студенческого мундира. Я вышел во двор и увидел, что проход на Моховую загорожен полицейским нарядом. Тогда я прошел узким подземным коридором в переулок и услышал, как за мной забирают дверь. На Никитской мне встретились казаки. Все это происходило ежедневно и уже наскучило. Очевидно, нас арестуют и вышлют, как в позапрошлом году. Я собрал вещи в чемоданчик и уехал к сестре, оставив сожителю записку. Но он не получил ее: прямо из круглой залы университета он попал на сибирский этап и умер, не доехав до места ссылки. Он был слабого здоровья, никому не страшен, но верен своим взглядам. Без событий жизнь его вычеркнула.

Я, конечно, очень забежал вперед в своих воспоминаниях о юности. Пропущены самые обязательные страницы, и я попытаюсь восстановить их в обязательном тоне. От пристани отходит пароход, и мать машет мокрым от слез платочком. Студенческая фуражка была куплена еще весной, и голубой околыш успел слегка выцвететь. Граница юности и молодости, но еще искусственная: взрастает мальчик, которому очень хочется казаться взрослым. За обедом в парходной рубке я велел подать большую рюмку водки (рыбная солянка, стерлядь кольчиком!). Едет в столицу бывалый студент. На мне серый летний пиджачок — форму хочется заказать в столице. Нескольких интересных девиц — с маменьками и одиночек. Три дня парохода — истинное блаженство. Появляется соперник: высокий, красивый студент с кудрявой бородкой; впрочем, не выше меня ростом, но все-таки — с бородкой! Меня утешает то, что он держится не бойко и, видимо, хотел бы со мной познакомиться. Когда я выпиваю свою рюмку — она лишь вторая или третья в моей жизни, — он краснеет и заказывает парходному лакею такую же. Это меня бодрит — а может быть, бодрит рюмка, — и я бросаю со столика на стол: «Вы в Казань, коллега?» «Коллега» — это такое слово, такое слово, что его красоты и силы и пояснить нельзя! Чтобы произнести его впервые, нужна смелость и некоторая привычка к актерству; я приобрел ее, читая вслух Шекспира. Нет, он едет в Москву, а пока подсаживается к моему столику, и мы спрашиваем еще по рюмке. Хотя камская вода спокойна, как зеркало, но пароход начинает покачивать. Да, он москвич, юрист, третьекурсник; т. е. он перешел на третий курс. А вы казанский? Нет, я тоже еду в Москву и тоже юрист: по правде сказать, я только что поступил в университет. Я не понимаю, почему он смущен, но нам, во всяком случае, весело. Мы выходим на палубу. У него новенькая фуражка, и он завидует моей, выцветшей и уже слежавшейся на голове. На пароходе мы, конечно, интереснее всех, и при нашем проходе девицы делают равнодушные лица. Впереди три вечера. Дело в том, что жизнь, в общем, занятная штука. Воздух возбуждает аппетит, и за ужином мы опять выпиваем по две рюмки, а после пьем пиво. Тут оказывается, что его имя Борис, что у него в Москве есть сестра в консерватории, прямо сказать — очень хорошенькая, она вам живо вскружит голову. И уж если говорить по чистой совести, то он не третьекурсник, а тоже только поступил в университет, но, знаете, коллега, только не смейтесь, — у вас старая фуражка, и я боялся оказаться молокососом, к тому же думал, что вы едете в Казань. Мы радостно смеемся и говорим так громко, что все улыбаются и тоже радуются за нас. Ох, уж эти студенты — лихой народ! У Бориса отличный баритон, на пароходе пьянино, и новая фуражка побеждает выцветшую. Но дело в том, что одна из девиц необыкновенно прилежно читает. У меня нет голоса, но отличный слух, и я напеваю: «Беспорно, чтение дает нам бездну пищи для ума и сердца — но не всегда ж читать возможно!» Она силится не слышать, но кончается тем, что бегущие мимо берега внимают нашей беседе о литературе, — и уж тут побеждает фуражка отцветшей голубизны. В Пьяном Бору превосходные раки. В Казани мы теряем общество девиц, но приобретаем новые знакомства. В Нижнем Новгороде парходные удобства сменяются третьим классом поезда, и

стук колес не мешает нам перекликаться, сделав из верхних полок мягкие ложа, так как с нами едут для будущей жизни одеяла и подушки,—и московский вокзал выталкивает нас, благоговейших, на Садовое кольцо. Да здравствует молодость! Да здравствует преддверие настоящей жизни! Я всматриваюсь в темноту пройденного длинного коридора, и в далекой его перспективе вижу мелькнувший свет, заслоненный фигурами юношей, смело распахнувших дверь и бегущих сюда, но им не удается сохранить на всем пути бодрую походку. Мне хочется подождать, пока они подойдут и пройдут мимо стариками—и низко поклониться своим воспоминаниям.

Юноша крутит над своей головой веревку с привязанным камнем. Снаряд вырывается и летит по кажущейся прямой. Юноша слишком размахнулся, и камень летит над деревьями, вершинами гор, минуя границы, отклоняемый ветрами и вихрями, сшибаясь с препятствиями, теряя силу. Мы вступаем в область географии, которая так плохо преподавалась, но со временем поддалась практическому изучению. Я изучал прибои и приливы разных морей и ломал язык для чужих гласных и согласных. В жизни взрослой и сознательной вкусил больше от Запада, чем от родины, и для приветствий и проклятий завел особую тетрадку—много тетрадей,—не для чужих глаз и не для печати. Там люди, идеи и события наколоты на длинные булавки, крылышки расправлены, все пересыпано нафталином. Бабочки, мушки, осы, стрекозы и его благородие жук-усач. Там великие люди из энциклопедического словаря ходят в спальных туфлях и незящно сморкают носы. Там идеи играют в свайку и топчутся на одном месте, и из пустого в порожнее переливаются и пересыпаются явления со звонкими заголовками. Когда же камень, обернувшись бумерангом, ударился о петербургскую мостовую, у моей двери остановилась странного типа походная коляска с солдатом за кучера, и усатый офицер-фронтвик уверил меня, что он не кто иной, как Володя Ширяев, с которым мы прочитали все, что написали для нас человеческие гении. Он был в отпуске с фронта и, узнав о моем возвращении в Россию, поспешил возобновить гимназическое знакомство. Мы отправились на Острова, где в большом ночном ресторане подавали только квас и лимонад, и однако посетители были пьяны больше, чем в мирное время. Мы рассматривали друг друга: кожу, волосы, улыбки, искали знакомые звуки в голосе и говорили обо всем, кроме войны: о черепе бедного Иорика, о великом инквизиторе, о княжне Мери и Марфиньке, о разбросанных по вселенной чертовых куличках и надеждах тридцатипятилетнего возраста. «Помните нашу знаменитую ссору,—сказал Володя,—согласитесь, что это было очаровательно!» Я помнил ссору и помнил взрыв, уничтоживший классную комнату; этот взрыв повторился спустя год,—мы этого еще не знали, но уже могли предполагать. «Через три дня кончается мой отпуск,—сказал Володя без всякой горечи,—я очень рад, что нам удалось встретиться». Я не знаю, был ли он убит. Но он был талантлив, и невозможно, чтобы о нем, живом, я никогда более не слышал.

Контролер с удивлением вертит в руках мой билет: на нем помечена начальная станция, но не указана конечная: «Куда же вы, собственно, едете?» Я должен бы пояснить ему мое первое открытие: цель жизни есть сама жизнь, и я не умею эту жизнь

резать на аккуратные кусочки. Грудные дети часто бывают похожи на старцев, старики падки на юношеские шалости. Однажды у меня встретились за обедом молодой поэт и старый общественный деятель; разница в годах—свыше сорока лет. Я не сомневаюсь, что в борьбе на поясах или в успехе у женщин победил бы молодой. Но в оптимизме и в приятии жизни они менялись годами: мысли молодого отдавали шампиньоном, старик просился в петличку летнего пиджака. Первый горделиво нес бремя общественной благотворительности, второй терпеливо ее организовывал, живя своим трудом. Это было лет пять тому назад; с душевным холодом за одного, с радостью за другого прибавляю, что старик пережил поэта, погибшего бесславно. И я говорю огорошенному контролеру: «Если поезд не сойдет с рельс раньше, я еду до станции Утомления, не предугадывая ее официального названия». Мы же условились, что жизнь не делится на отчетливые возрастные кусочки. Я только что снял свою первую студенческую комнату в Москве,—конечно, на Бронной, и шел с бутылкой купить керосину для лампы. У дверей пивнушки меня остановил студент без фуражки, со всклокоченной бородой, свирепым видом и добрыми глазами: «Почему ты идешь мимо, рыжая бестолочь?» Собственно, рыжим был он, а никак не я, но я почувствовал прилив восторга и гордости. Он вырвал у меня бутылку, которую мне одолжила хозяйка, понохал и сказал: «О, юность, иди своей дорогой, но помни, что все пути ведут в Рим», затем повернулся и с бутылкой ушел в Рим. Мне очень хотелось последовать за ним в приглядный кабачок, но я не решился. На цыпочках, высоко держа голову, я трижды прошел по Тверскому бульвару, от Пушкина до столовой Троицкой,—и мир был светел и полон надежд. Не эти ли минуты считать священным отплытием от берега юности в океан молодых переживаний? Еще в круглом зале профессор Чупров не произнес своего бархатного «Милостивые государи!», еще не блестел полировкой под низкой лампочкой стол в Румянцевской библиотеке, еще Манеж на Моховой не говорил о пределах студенческой свободы. Новенькие фуражки, встречаясь на улице, отводили глаза, но сердца сияли приятно—начало соборности. Мои руки вытягиваются и обнимают ряд зданий—и двор с нелепой куклой Ломоносова, и холод колонн университета в Риме, и Сорбонну, катящуюся по скату улицы Сэн-Жак! С влажными складками крыльев бабочка высвобождается из кокона,—и предстоящий ей мир не меньше нашего; я хотел бы огромным карандашом зачеркнуть много строчек, страниц и книг и в прошлом и в настоящем, оставив вне скобок только минуту ее первого вылета. Чистый звук струны, без развитого мотива, без дирижерской палочки, бесспорность неуловимого разумом и не отравленного стерегущим сомнением. В булочной Филиппова на Тверской пирожок стоил пять копеек, счастье бесплатно. В окнах книжного магазина ответы на все улыбались синими, серыми и желтыми обложками, московский Ванька обожал свою лошадь и уважал седока, река деловито бежала под стенами Кремля, и у мостов ее вода, натываясь на камни быков, напоминала морщинками лапки у серых смеющихся глаз. И тут живут, и за рекой живут, как живет и вздымается в дыхании грудь всей земли, заселенной мудрецами и рыжей бестолочью. Потом—но только потом—эти камни, окна, книги, мосты,

серые глаза, дышашие груди, бегущие через поля столбы, подводные лодки, лачуги и вавилонские башни, крохи познаний и бездны невежества, биржи, самолюбия, подвиги, и все слова, предметы и понятия взорвутся, сольются в клокочущую кашу из металла и тел, испепелят веру, изнасилуют любовь, и волосатая рука покажет наивной вековой мудрости огромный кукиш с загнутым желтым ногтем, но это потом, в темном холоде будущего, которое юноша приветствовал голубым околышем фуражки,— и был прав, не угасая слишком рано надежды, без которой жить нельзя. Когда обратно по бульвару я шел домой, забыв, что керосин не куплен, сидевшая на лавочке женщина с приветливой хрипlostью голоса бросила мне: «Коллега, дай папироску!» Неся свой восторг, я прибавил шагу и, поднявшись на воздух, плавным поворотом влетел в устье Латинского квартала.

Рано утром я стучу в дверь комнаты и бужу юношу, доставленного мною на станцию «Молодость». «Не забудьте,— говорю я ему,— что сегодня ваша первая лекция и вы делаетесь «Милостивым государем». Его глаза сияют. Я пожимаю ему руку, желаю быть кузнецом своего счастья и, спускаясь с лестницы, вижу котенка, играющего клубком. Клубок разматывается, и настоящее уходит в прошлое. Моя задача выполнена, мне некуда больше спешить, и я возвращаюсь в это прошлое, шагая по шпалам железнодорожного пути. На слиянии двух рек, Волги и Оки, меня задерживает раздумье и излишек досуга. Водяная поверхность покрывается салом, побережье белеет — и по льду, лениво вытянувшись, располагается санный путь. Тогда я меняю маршрут и иду на Самару и Уфу. На станциях продают кустарные изделия из чугуна, слюды и каменной соли: рядом чертик и евангелие. Наполнив ими дорожный мешок, я палкой помогаю себе взобраться на отрог Урала — хотя и на ровном месте уж не обхожусь без легкого посоха. Какие-то воспоминания связаны с Челябинском, кажется, здесь мы немножко скандалили, отправляясь в первую ссылку. На горном перевале столб: «Европа — Азия». В Екатеринбурге с детской страстью я люблю переливчатыми камушками, горками горного хрусталя и почками малахита. Черные прожилки на темной зелени пробуждают непонятное беспокойство, и мне хочется скорее добраться до еще более знакомых мест. Обратный столб «Азия — Европа», потому что раньше был только этот кружной путь из Москвы на родину, и он был прекрасен. Запущенные снегом бесконечные лесистые края, нетронутая природа, чистый воздух орлиных гнезд. Путь к камским берегам ведет по понижающимся отрогам тропинками, протоптанными арестантской беглой шпаной. Поздним вечером я разыскиваю деревянный дом и вижу в окне свет знакомой лампы. Дверь не заперта, но я не сразу решаюсь войти; за дверью слышен как бы удар молоточком: женская рука разбивает кедровый орешек осколком малахита. Котенок играет клубком, уже размотанным почти до конца, и его лапы путаются в нитках. Я захожу лишь на минуту — передать привет от нового милостивого государя, который очень прилежно слушает лекции. Глаза женщины отрываются от пасьянса, но я уже снова на большой дороге, ведущей из города, мимо кладбища, в глубь леса. Привет черепу бедного Иорика! Детьми мы делали из деревянных рогаток и каучуковых трубок отличное ору-

дие, которым разбивали чашечки телеграфных столбов на сибирском тракте, не зная, что это называется преступлением. Поворот к деревне мне знаком, как прежде: березовая опушка и глубокая колея в сторону на четвертой версте. Совсем внезапно пришла весна, над полями уже голосят жаворонки. Воз, нагруженный всякой домашней утварью, увенчан самоваром в руках моей нянюшки, мы с тою же медлительностью следуем на извозчике. Первый визит на косогор с клубникой — с него спуск к речке. Отец носил летом костюм из чесучи и широкополую соломенную шляпу. У меня за плечами мешок с приборами: коробки для растений, совок для их выкапыванья с корнем, еще разная разность высокого назначения. Иногда брали заступ — когда шли открывать родники. Временный желобок отец делал из бересты; всегда с нами резиновый стакан — пробовать воду, сладка ли, — она всегда была сладка и освежающа!

Разматывая клубок ниток, чтобы перевязать пучок листьев папоротника, я замечаю, что клубок истрачен и его нити воспоминаний не хватит на дальнейший откат к детству; теперь это делается проще обратным ходом кинофильма. Мы выбираем сырой склон, где особенно пышна растительность и богаты мхи. Отец налегает на заступ городским башмаком, и мы ждем, не появится ли в ямке вода. Мне хочется, чтобы эта картина была последней, потому что она мне очень дорога. Краски туманятся, в глазах рябит дрожащая сетка, и последнее, что я слышу и помню, — очень серьезный и очень убедительный голос, который говорит мне, как совсем взрослому:

— Вот и еще один родник свежей и здоровой воды. Мы сделаем желобок, и кто-нибудь, напившись, помянет нас добрым словом. Куда потечет эта вода?

Я уже знаю и подсказываю скороговоркой:

— Отсюда в речку, из речки в Каму, из Камы в море, из моря вернется сюда же легким облачком...

Отец смеется, достает резиновый стакан и первым пробует воду. Затем отпиваю я, и занавес бесшумно опускается.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ



Евгений КЛЕЩИН

ЗАНЕСЕН ТОПОР НАД ПАРМОЙ

Читая книгу Бориса Ковалева
«Войди в лес другом»

БУДУЩЕЕ
ПРИРОДЫ

...Осторожно раздвигая хрупкую тишину белой ночи, поезд втягивался на запасной станционный путь. Ираэль встречал нас тонкой прохладой — предвестницей утра — и слабым ветерком, пахнувшим близким жильем, станционным мазутом и еще чем-то, что постепенно заполняло проем открытой вагонной двери.

Жутковатый бетонный каркас в два этажа, обнесенный полустгнившим забором. Внутри двора — горы досок, железных балок, каких-то специальных штуковин. В кучи бетона всохли электродвигатели, распредциты, пучки проводов. Словно загадочный некто, поспешавший в несусветную даль, оставил эту «выпечку с изюмом» в уплату за аренду обочины под пикник...

Долго в молчании бродили мы в этом хаосе. Но вот вскрикнул, пробуя голос, петух в ближнем дворе. Ему ответил с перегона локомотив. Потом появились люди. Они шли туда, где выше заборов висел полинялый плакат: «Товарищи! Ударным трудом...»

«Пора», — решили мы и двинулись же.

...С руководством Ираэльского леспромхоза нам тогда встретиться так и не удалось. Неумелая лгунья юная секретарша что-то щebetала про срочное совещание в районе: «Я говорила, что вы звонили, говорила...»

Судьба предприятия предстала нам в рассказах рядовых лесорубов.

Четверть века леспромхозу, учрежденному во время оно бывшим Минсельхозом России, а точнее — его Управлением лесозаготовок (?) и стройматериалов. Годовой план заготовки, вывозки и разделки — 60 тысяч кубометров. Меньше, чем у средней руки лесопунктика из системы главного в Коми АССР лесопользователя — Всесоюзного лесопромышленного объединения Комилеспром. Задача — снабжать лесом колхозы и совхозы безлесых районов страны.

Вроде все логично. С точки зрения ведомства — да. С точки зрения общенародной...

Лишь однажды, в 1979 году, леспромхоз выполнил план. До сих пор здесь говорят об этом как о ЧП. По значимости это событие затмило даже обвал перекрытия в том «лесопильном цехе» на обочине. Десять лет залетные умельцы ляпали его на беду одному из своих шабашейкорешей.

Выбрав лучшие в округе леса (а ходили по борам, как на базаре, брали отдельные, нередко элитные деревья, круша при их трелевке десятки других), пришельцы двинулись в глубь тайги. И вновь оставляли за собой пустоши и завалы. Едва ли половина из того, что валяли они наземь, достигало пункта разделки. Еще меньше доходило до потребителя.

Сотни тысяч рублей штрафов уплатили за эти годы органам лесной охраны одни только ираэльские самозаготовители. Всего же таких «контор» сегодня в республике около полсотни там «почтовых ящиков» и «учреждений». И все они почему-то не считают за грех срубить дерево, чтобы шишки сорвать. Зачастую до половины объема древесины эти «хозяева» выхватывают из пармы тайно, воровски, без лесорубочных билетов.

Что самое страшное — до сих пор, не взирая ни на что, процветают на обочинах края такие вот «любители леса». Ни спасу от них, ни припасу. Один разор.

Представим себе на минуточку: на месте слепого бора со всеми его красками, запахами, богатством его даров — пустое место. Щена и обломки деревьев вперемешку с грязью. Кучи сучьев, вывернутых шней, возле которых не сразу заметишь чахлые побегии сосны или ели, березы или осины. Что стряслось? Какие непостижимые испытания выпали здесь на долю Природы? Еще один Тунгусский метеорит? Если бы. Здесь прошел механизированный отряд лесозаготовителей. Взял, что смог и сумел, и двинулся дальше. А потому не важно, кто он был, этот лесоруб: работник рес-

пектабельного Комилеспрома или самозаготовитель-варяг — приезжая, чужая душа. По отношению к лесу и тот, и другой оказались варварами. И сегодня это приходится признавать даже им самим.

— После нас еще долго расти ничего не будет, — соглашаются наиболее совестливые...

Боль и тревога за судьбу леса и подвинули главного лесничего Минлесхоза Коми АССР кандидата сельскохозяйственных наук Бориса Ковалева взяться за перо и теперь уже не с газетной поспешностью, а полно и крупно высказать все, что годами накопилось в лесу и в душе. Эта боль составляет пафос книги «Войди в лес другом», которая вышла в Коми книжном издательстве и разговор о которой я решил начать с примера из журналистской практики.

Ковалев любит природу не по долгу службы. Он не только руководитель, отвечающий за охрану и воспроизводство лесов. Он еще и страстный охотник, следопыт, рыбак. Для него борьба за сохранение тайги стала смыслом жизни, продолжением традиций русских лесоводов.

«В последнее время в республике заготавливается примерно 24 миллиона кубометров леса в год (около 6 процентов от всей заготовки в стране), — пишет автор в начале книги, как бы очерчивая контуры пармы. — Но леса нашего края — основа для переработки теперь уже не только внутри республики, но и в других областях страны. Почему? Да потому, что в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и в Карелии запасы древесины почти иссякли. Потому и рубят лес все больше на территории Коми, и год от года объемы рубки растут. Что за этим стоит? Давайте посмотрим...»

Известное терпение, а главное — любовь к родной природе нужны читателю, чтобы не испугаться языка фактов и цифр, который предлагает Ковалев. Он не беллетрист, забалованному книголюбу может показаться скучным. Однако то, что

сообщает зам. министра лесного хозяйства республики, — открытие.

Вопрос вопросов в деле лесопользования — расчетная лесосека. То есть предельный годовой объем рубки, установленный законом. Казалось бы, что мешает нам рубить столько, чтобы не вырубить долга? Перестройка назвала причину: ведомственность, амбиции, групповые интересы. Но машина запущена не вчера и остановится, наверно, не сегодня...

Общие запасы древесины на территории Коми АССР оцениваются примерно в 2,4 миллиарда кубометров. Значит, если мы и дальше не превысим нынешний годовой съем — 24 миллиона, леса может хватить на сто лет. За это время, если к тому же вести интенсивное искусственное восстановление, успеют подняться и созреть даже медленно растущие северные ель, сосна, кедр. Иными словами, осуществится вековая мечта лесоводов о непрерывном и неистощительном лесопользовании. Мечта, которой до сегодняшнего дня не удалось сбыться ни в центре России, ни на европейском Севере, ни в Сибири.

Но расчетная лесосека для Коми АССР установлена свыше: 35 миллионов кубометров. Вопреки здравому смыслу. «Там», в Минлесбумпроме и Госплане СССР, оказывается, лучше знают, чего и сколько растет в парме, чего и сколько с нее взять. И «антиприродная» цифра закладывается в планы, под нее наращиваются все новые производственные мощности, которые, как известно, надо потом осваивать. Что же дальше?

«При существующих размерах и мощностях лесозаготовок и без учета естественного и искусственного восстановления леса хватит всего лет на 50, — свидетельствует Ковалев. — Таким образом, при невообразимых таежных пространствах республики, колоссальных запасах спелой и перестойной древесины рубить можно не так уж много. И возникает большое опасение в том, что сегодняшнее размещение, планирование, развитие лесозаготовок, а главное — узкопотребительский подход ко всем проблемам эксплуатации и восстановления лесов приведет к возникновению «белых пятен» на карте нашей республики.

Такие «пятна», как предвестники большой беды, уже появились в южной и средней зонах нашей тайги. При увеличивании или ДАЖЕ СТАБИЛИЗАЦИИ заготовок в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском районах... леса здесь хватит ненадолго».

Но и сама по себе оптимальная расчетная лесосека не станет панацеей, если не изменится нынешнее размещение производительных сил Минлесбумпрома СССР в респуб-

лике, считает Ковалев. И с ним трудно не согласиться. За десятилетия безоглядных выборочных рубок предприятия создали вокруг себя «мертвые зоны», радиус которых достигает сотни и более километров.

Сегодня «зеленое море тайги» под крылом самолета предстает как сплошная рваная рана — словно бешеный медведь пропахал леса когтями во всех направлениях. Глазу просто негде отдохнуть; особенно если летишь над югом и центром республики.

Теперь человек расплачивается за это. Лесорубы проводят в пути на работу и обратно по 3—4 часа. Лесные дороги отвратительные, летом ездить по ним просто небезопасно. Построенный когда-то в пятидесятые годы временный жилфонд распадается на глазах, и нет средств заменить его. Психология временщика сделала свое дело и в сфере нравственности.

«Обеднели не только леса, — тревожится Ковалев. — Духовно беднее стал человек, растущий у леса. С раннего детства видит он оскудевшие коми пармы и благодаря многим картинам бесхозяйственности стал равнодушным к этому. В нем все труднее воспитать любовь к природе и хозяйское, бережное отношение к дереву, к лесу, к родным просторам.

— Сейчас даже на практических занятиях по ботанике мы не можем показать детям настоящий сосновый бор, — удрученно сетуют учителя школ Сысольского района.

И это в тех местах, где еще не так давно простирались высокие и светлые, казалось, бесконечные боры...

Повернуть лесозаготовки туда, где можно и нужно рубить спелые леса, но где нет пока ни дорог, ни жилья, ни мощностей, в конечном счете выгоднее для человека и для природы, чем создавать все новые и новые пустоши в местах нынешнего размещения леспромхозов, убежден лесничий.

К сожалению, по всем этим вопросам Минлесбумпром СССР уже давно хранит высокомерное молчание. На первом плане, как и годы назад, — сиюминутная выгода и нетривные от нее успех, награды, продвижение по службе...

Другая, не менее застарелая боль северной тайги — хроническая отсталость лесозаготовительной техники и технологии. Даже признанные во всем лесном мире прогрессивными сплошные рубки в условиях республики становятся фактором полного уничтожения лесной среды. Тяжелые машины, не приспособленные для езды по заболоченным (почти повсеместно) грунтам, тонут в деланках по самые кабины. Чтобы выехать, машинисты

ищут все новые «сухие» места, уминая подрост. Уходя, лесозаготовители, как правило, не оставляют после себя ни одного жизнеспособного молодого деревца.

Нечем обработать и такие ценные виды сырья, как хвоя, сучья, пни, мелкотоварные деревья: нет в стране техники, которая давно уже ползает по деланкам Финляндии, США. Мы же берем у пармы в лучшем случае две трети того, что обязаны были бы взять, занеся над ней топор. По некоторым оценкам, ежегодно в виде разных потерь в республике гибнет до 10 (!) миллионов кубометров древесины.

Вот что происходит сегодня в парме — лесном краю, воспетом в сказках и преданиях российских народов. На месте сведенных боров трепещут осинники. Все чаще взлетает топор над неприкосновенными лесами первой группы — водоохранными и зелеными зонами. Мелеют реки, и молевой сплав буквально добывает их, рваных. Уходит с вековых мест обитания дичь, рыба. Уж на что мощна в своем дышании красавица Печора, но и в ней за последние два десятка лет чуть ли не вдвое сократилось поголовье семги, нельмы, сига. О грибах и ягодах нечего говорить. Теперь даже сельские ездят с корзиной за многие километры.

Для того чтобы не прослыть в глазах потомков варварами, путь возможен только один: прекратить разбазаривание лесных ресурсов, когда с бору по сосенке получает каждое ведомство; нужно наладить комплексное освоение природных щедрот. Как и земле, «зеленому другу» не меньше нужна крепкая рука одного хозяина, твердой ногой ставшего на вечное дежурство в своем лесном околотке. Пусть это будет семейный, коллективный, комбинированный — какой угодно подряд. Здесь он будет ко двору не меньше, чем на откорме телят и поросят.

По этому пути уже идут на Украине, в Прибалтике, в Грузии. На подступах к делу в Карелии и в Архангельской области. Там теперь врачуют уже подломившийся было сук, который под собой же рубили. Но им «легче»: еще недавно лесозабиточные районы — Карелия и Архангельск — теперь могут предъявить московским комиссиям пустое место и остановившиеся лесопильные заводы. В Коми АССР этот номер пока не пройдет. Здесь придется сначала под машинку вырезать полтайги, чтобы заставить чиновников поверить собственным глазам...

Александр ВЛАСОВ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ... БЕЗ ПЛОТИНЫ

В последнее время идет острая дискуссия о проекте строительства Катунской ГЭС в Горном Алтае. В ходе нее высказано много альтернативных предложений. Одно из них — развитие малой гидроэнергетики. Ее идеи, рожденные в недавнем прошлом, могут дать плоды в ближайшем будущем.

«Горный Алтай, обладающий большими запасами водной энергии, почти не электрифицирован. Дело в том, что отсутствие мало-мальски пригодных для транспорта дорог не позволяет горноалтайцам устанавливать электростанции, работающие от двигателей внутреннего сгорания (нельзя даже подвезти горючее). А гидроэлектростанции, построенные на бурных горных реках по проектам Гипросельстройэлектро, по заявлению Ю. М. Новикова, себя совершенно не оправдали». Это строки из статьи, опубликованной в многотиражке Всесоюзного института «Гидропроект» четверть века назад.

Многое, конечно, изменилось. Вертолеты перенесли в горы за перевалы опоры мощных ЛЭП. Самые дальние деревни подключаются к государственной сети и замолкают дизели. Но вот «большие запасы водной энергии» по-прежнему не используются.

Проект Катунской ГЭС с технической стороны, по мнению специалистов, безупречен. А с экологической — увыв... Высота плотины — 180 метров, длина водохранилища — около ста километров. Экологические потери гигантских ГЭС на Ангаре, Енисее, Волге пугают не только горноалтайцев, но и жителей других регионов страны. Ведь Горный Алтай называют «жемчужиной Сибири». Это место массового паломничества туристов.

Многие справедливо считают, что малые ГЭС на горных реках не только автономную область обеспечат электроэнергией, но и краю ее дадут. Один из сторонников малой гидроэнергетики — Юрий Михайлович Новиков. Тогда, 25 лет назад, он был главным инженером единственного в своем роде Горно-Алтайского областного управления «Микрогэсстрой».

Бесплотинное гидростроительство — мало кто слышал об этом. А Ю. М. Новиков занимался бесплотинными станциями (БПС) много лет. Он — ветеран войны, но до сих пор работает в одном из научно-исследовательских институтов. «Любая плотина — это насилие над рекой, диктат. Человек навязывает свободной реке свою волю: «Ты должна падать с такой-то высоты и давать столько-то энергии. А нужно сотрудничество с природой. Реки Горного Алтая и без подпора плотинами несут огромную энергию свободного потока. Человеку остается лишь умело ее использовать», — так считает изобретатель.

1955 год. Тогда, вскоре после войны, экономить умели. Задумывались о многом. Именно в этот год на небольшой речке Юрий Михайлович построил первые модели бесплотинных ГЭС. А через несколько лет Ю. М. Новиков узнает об идее другого изобретателя — Б. С. Блиновой — о гирляндных ГЭС.

Гирляндная ГЭС — это трос, натянутый поперек реки. На нем закреплены специальные турбины. Один конец троса имеет свободное вращение, а другой соединен с генератором. Вот и вся электростанция. Ее конструкция позволяет работать и подо льдом, и при малой, и при большой воде. В начале шестидесятых прошли успешные испытания еще девять различных типов БПС. Не поду-

майте, что они пригодны лишь для маленьких деревень и отдаленных стоянок. Мощность БПС может быть любой. Это просто принципиально новая, качественно иная схема гидростанций.

«Гирляндные ГЭС создаются не только в Горном Алтае. К ним появился интерес и в Якутии, на Дальнем Востоке, и в ряде областей в центральной части СССР. Представляется целесообразным провести при Гидропроекте первую в стране конференцию по вопросам создания и внедрения в народное хозяйство гирляндных ГЭС». Это тоже из статьи. Но... Конференцию не провели. Тома отчетов об исследованиях положили в шкафы. Там они, наверное, пылятся и до сих пор. Ю. М. Новиков ушел в середине шестидесятых на другую работу. А бесплотинные ГЭС в Горном Алтае победили дизели.

Впрочем, наверное, не они виноваты. А иждивенческая позиция: государство даст всё! Зачем что-то изобретать, испытывать, строить своими руками, когда вот они — дизельные установки! Даже по телевидению выступали: «Тот, кто всерьез думает об электрификации Алтайского края, тот будет всемерно содействовать внедрению бензиновых и дизельных электроустановок». Такая пропаганда тоже сделала свое дело. О БПС забыли.

Почти та же участь постигла и малые плотинные ГЭС. А их в горах Алтая были десятки. Главный инженер нового проекта «Схема развития малой энергетики Горного Алтая» В. М. Адамов из Алма-Аты рассказывает: «Почти везде, где мы предлагаем строить новую малую ГЭС, гидроэлектростанция уже когда-то стояла! А вспомнить что-нибудь конкретное о ней никто не может. Почему закрыли? Почему разрушились деривационные каналы? А от «Барнаульэнерго» имеем информацию: «Малых ГЭС, подлежащих реконструкции, в Горном Алтае нет». Загадок хватает. Почему, например, прекратили строительство почти законченной Чуйской ГЭС? А ведь с того времени всего двадцать лет прошло. Одни считают — из-за фильтрации грунтов. Другие вообще несурозные говорят. Например, что деривационный канал прорыл вверх по склону. А мы там были и видели: стоит готовое, но не пущенное сооружение. Заржавели брошенные генераторы. Сейчас подобные выпускаются лишь в КНР. Чтобы сделать новые, придется переориентировать целый завод».

Много интересного в истории горноалтайской гидроэнергетики. На водопаде Камышла, куда и дорог-то нет, лежит старое водяное колесо. А здание электростанции возле знаменитого Ороктойского мраморного месторождения построено из мрамора. Издалека смотришь — обычный дикий камень в кладку уложен. А ближе подойдешь — разноцветный мрамор. Тот же, что и в московском метро.

Бесплотинные и малые ГЭС на горных реках — одни из наиболее экологичных видов электростанций. В Китае, например, пошли по пути развития малой энергетики. Малых ГЭС там сейчас — восемьдесят тысяч. Время рассудит, кто сильнее — «микро» или гиганты.

Под Солнцем Матроса Селкирка



Владимир
МАЛОВ

Рисунки
Дмитрия Литвинова

7.

По ночам, в прохладные часы, на каменной почве Хуан-Фернандеса действительно появлялась обильная роса. Когда вода в бочонке стала подходить к концу, Грант собрал десятки мелких камешков в одну внушительную грудку у палатки. Рано утром, пока Солнце Матроса Селкирка еще не высушило влагу, ее можно было слизывать с камушков и хоть немного обманывать жажду. Иногда в атмосфере собирались тучи, и даже погромыхивал гром, но тучи еще ни разу не пролились дождем.

Запас еды тоже заканчивался, ее расходовали микроскопическими порциями, но теперь Грант, Мартелл и Дуглас уже не так страдали от голода, как в самые первые дни. Период раздражительности, головных болей, как это быва-

Окончание. Начало см. в № 1.

ет в начале голодания, давно миновал, и они испытывали только вялость, безразличие к тому, что происходит вокруг. Грант видел, что его друзья исхудали еще больше, и знал, что выглядит точно так же. Они лежали в палатке, почти не разговаривая, и только раз в день Грант забирался в радиоотсек «Арго», чтобы связаться с Карелом Стинглом.

То необъяснимое и загадочное, что волновало их еще совсем недавно, постепенно стало казаться всем троим незначительным и не стоящим внимания, тем более что ничего нового не происходило. Да и происходило ли что-то прежде; быть может, и в самом деле лишь призрачные видения пронесли в голове у одного из них, а остальные приняли его сбивчивые лихорадочные рассказы за действительность?

Но прошла ночь, когда высоко в небе вновь разорвалась яркая вспышка, и из долины опять донесся грохот. И эта вспышка вновь словно бы высвободила у всех троих скрытые именно для такого момента силы.

Грант поднялся; рядом встали Дуглас и Мартелл. Новой вспышки в этот раз почему-то не было долго, они могли даже подумать, что первая только почудилась им, но затем последовали две одновременно.

— Это что-то новое,— пробормотал Грант.

Секунду он колебался. Надо было идти в долину, и пойти ему следовало одному, незачем подвергать риску Дугласа и Мартелла. Но... но был ли риск, рисковал ли он чем-нибудь, когда ходил в долину один в прошлый раз—ничего ведь не случилось! К тому же в глубине души он желал, чтобы и Дуглас с Мартеллом увидели то, что видел он, и испытали то, что он испытывал. Это нужно было для того хотя бы, чтобы все втроем они могли потом говорить о загадке, опираясь каждый на личные впечатления, а не на впечатления только одного человека.

Но кто знает, может быть, в этот раз не исключены какие-нибудь неожиданности? И тогда лучше, чтобы он один...

Однако Дуглас и Мартелл сами положили конец колебаниям Гранта. Слово бы заранее сговорившись, оба шагнули вперед, в темноту; это был первый случай, когда они не ждали решения Гранта, и он их не остановил, а захватил фонарь и пошел за ними.

В долине уже начинали свой хоровод бегающие огоньки. Точно так же было и в первый раз, когда Грант не дошел до чужого корабля, и во второй, когда он дошел. Дальше, если следовать прежнему ходу развития событий, в темноте должен был проявиться контур корабля, потом огоньки сольются в одно большое световое облако...

Любопытно, подумал Грант как-то отстраненно, что сейчас должны испытывать Дуглас и Мартелл? Для обоих это событие ошеломляю-

шее, они знают, что их ждет встреча с чем-то таким, с чем еще никому, кроме него, Гранта, не случалось сталкиваться. Так как же они идут к этому событию? Если Мартелл, бойкий журналист, наверняка привычен к разного рода неожиданностям, то Дуглас — сугубо кабинетный ученый, увереннее чувствующий себя в призрачном, но привычном ему мире античных героев, чем среди реальных людей... О чем это я, о чем я сейчас думаю, остановил себя Грант. Надо собраться с силами, напрячь все внимание, чтобы понять наконец, почему они ведут себя так, как будто они одни, как будто нет рядом существа, заслуживающего, по крайней мере, любопытства?

Грант прибавил шагу. Однако дальше события развивались не совсем так, как он ожидал. Прежде всего из мрака высветился контур не одного корабля, а сразу двух, причем разница в них была настолько очевидна, что не вызывало сомнений; хозяева их живут явно не на одной какой-то планете. Первый корабль представлял собой веретенообразное тело, постепенно сужающееся к обоим концам и увенчанное длинными тонкими иглами. Другой был похож на усеченную пирамиду, покоящуюся на нескольких далеко разведенных в стороны опорах. Дуглас и Мартелл, увидев эти сооружения, в нерешительности остановились, и в этот момент из обоих кораблей вышли на планету их хозяева.

Экспансивный Мартелл даже вскрикнул. Огоньки стали собираться в световое облако.

С первого взгляда Грант понял: это были

129) совсем не те существа, каких он видел несколько дней назад. Скафандры хозяев корабля-веретена были похожи на массивные треугольники, снабженные двумя парами коротких рук и поставленные на массивные же ноги-опоры; сверху на треугольниках были цилиндрические головы. Обитатели другого корабля вышли на поверхность Хуан-Фернандеса вовсе без скафандров, очевидно, атмосфера планеты для них, как и для землян, была безвредна. Насколько можно было судить на расстоянии, эти существа имели сходство с людьми Земли, но сходство, скорее, количественного порядка: одна голова, две руки, две ноги и туловище. Пропорции же были иными — очень короткие и плотные ноги и невероятно длинные и тонкие руки; очертания лиц трудно было рассмотреть издали. Пришельцы, те и другие, вытянувшись в цепочки, направлялись к россыпи камней, озаряемой светящимся облаком. Друг на друга они, похоже, не обращали никакого внимания.

Выкрикнув что-то непонятное, Мартелл кинулся к ним. Немного поколебавшись, вперед двинулся и Дуглас.

В голове Гранта теперь был полный сумбур. Загадка еще больше усложнялась. Происходило что-то совершенно невероятное. Трудно было предположить, что на одной планете в одно и то же время случайно перекрестились пути двух разных цивилизаций, а совсем недавно побывал вдобавок и корабль третьей. Не случайность! Планета Хуан-Фернандес, похоже, была весьма по-



сещаемой, но почему? И почему экипажи двух кораблей не обращают друг на друга никакого внимания? Не могли же, в конце концов, и те, и другие, а также и самые первые быть слепы?

Ясно пока было только одно: всех, прибывающих на Хуан-Фернандес, отчего-то интересуют камни долины. Обыкновенные камни — таких тысячи на Земле и на любой другой планете. Но рядом с этими камнями можно испытывать необыкновенные ощущения... Не таится ли именно в этом хоть тень разгадки? Или же это простое совпадение? Необыкновенные ощущения появляются только рядом с пришельцами из другого мира: когда те улетают, камни как были, так и остаются обыкновенными камнями. Значит, дело не в камнях? Так в чем же?

Однако времени на раздумья не оставалось. Первая группа пришельцев уже выстраивалась вокруг одного из камней, трое землян были совсем рядом с ними. Мартелл, бешено жестикулируя, начал им что-то говорить, и Грант вдруг увидел, что цилиндрические шлемы некоторых из этих существ повернулись в сторону журналиста. Значит, они его все-таки заметили, слышали?! Но сейчас же в глазах и ушах Гранта точно так же, как и в прошлый раз, все померкло, а потом, через какое-то время, внутри него стали открываться картины, краски, звуки...

Он стоял в центре круглой комнаты, стены которой от пола до потолка опоясывались разноцветными лентами, и почему-то знал, что на самом деле это не ленты, а книжные ряды. Он чувствовал, что на него смотрят бесчисленные корешки, его мучила жгучая жажда узнать, что таит в себе каждая книга. И взгляд его вдруг словно бы проник внутрь всех этих книг, бесчисленные типографские значки сложились в истины, которые все вместе, разом, накрепко отпечатались в его мозгу. Но ему было мало только этих истин, и стены комнаты с книгами стали раздвигаться. Они уходили все дальше, к горизонту, и, значит, больше становилось книг и больше таящихся в них истин. Зачарованный, Грант смотрел им вслед и желал, чтобы они отодвигались еще быстрее, потому что вместе с этим все быстрее и полнее становился поток истин, среди которых он плыл. Все легче было держаться на плаву; чем бурнее был поток, тем — странное дело — проще было с ним справиться. И наконец вокруг не осталось ничего, кроме этой бешеной стихии, полным хозяином которой он себя чувствовал, Грант мог сделать с потоком все, что хотел: задержать или ускорить его течение, направить в любую сторону, столкнуть одну с другой волны, обрушить их на то, что мешало ему... Но и этой возможности было ему мало, потому что оставалось еще многое, пока неизвестное и скрытое, и надо было во что бы то ни стало проникнуть в это неизвестное и скрытое...

Грант вынырнул из этого потока и оказался там, где были камни, пришельцы, Дуглас и Мартелл, силуэты двух кораблей, однако еще какое-то время его не покидало необыкновенное, пьянящее ощущение, пережитое только что. Хотелось тут же, как можно скорее поделиться им с журналистом и историком, узнать, что видели и чувствовали они. Но фигуры в массивных скафандрах пошли дальше, и, подчиняясь неодолимой силе, Грант двинулся за ними...

Все, что происходило дальше, слилось в такой же калейдоскоп причудливых впечатлений, как и в прошлый раз. Разница была лишь в том, что, выныривая из них время от времени, он видел рядом с собой журналиста и историка, не отстававших ни на шаг, а также в том, что следом за ними, повторяя их путь, шла другая группа пришельцев. В какой-то момент краем глаза Грант увидел, что рядом с двумя кораблями появился контур третьего, и уголком мозга осознал, что среди каменного лабиринта ходит еще одна группа... Конец необыкновенного калейдоскопа был прежним: не в силах пошевелиться, переполненный всем, что обрушилось на него, Грант стоял на краю каменной россыпи, прожояая взглядом уходивших к своему кораблю существ в треугольных скафандрах. Рядом, застыв в неподвижности, глядя в ту же сторону, стояли Дуглас и Мартелл.

Мимо, не обращая внимания на них никакого, прошла вторая группа пришельцев, потом третья. Вскоре силуэты кораблей исчезли один за другим, однако светящееся облако почему-то никак не гасло.

Медленно, трудно Грант приходил в себя. Повторялось то же самое: пронесшаяся в душе буря оставила ощущение необыкновенного подъема, очищения, оставила желание совершить какие-то невозможные вещи, оставила доброту, мудрость, понимание, силу. Он переживал это уже во второй раз и помнил, как это ошеломляет впервые.

Грант потянул за локти Дугласа и Мартелла, и они двинулись за ним послушно, как автоматы. Нужно было дать им время успокоиться, нужно было возвращаться в лагерь. Они отошли от камней в полном молчании, и Гранту самому не хотелось сейчас ничего говорить...

Но необыкновенные события еще не закончились: с грохотом из ночной тьмы проявился еще один корабль. Прошло какое-то время, и Грант увидел, что навстречу им движутся несколько темных фигур. Все ближе, ближе, и уже можно было определить, что эти неизвестные тоже шли без скафандров и внешне очень походили на землян. Вот только лица у них Грант разглядел, и они были цвета густой хвои. Поравнявшись с тремя робинзонами, пришельцы окинули их пристальными любопытными взглядами, а идущий впереди вдруг совершенно по-земно-

му кивнул. Дуглас и Мартелл смотрели на это, как загипнотизированные, но внутри Гранта открылись какие-то шлюзы.

— Мы с Земли, мы терпим бедствие! — выкрикнул он, подскочив к переднему. — У нас больше нет еды, помощь придет не скоро!..

Он показал в сторону «Арго» и на небо, ударяя себя в грудь, и увидел, что его слушают. Но человек с лицом цвета хвои опять-таки совершенно по-земному развел руками; жест был очевиден — не понял ни слова. Потом незнакомец улыбнулся, обнажив ослепительно-белые зубы, вновь виновато развел руками, кивнул, и вся группа пошла дальше. Ошеломленный Грант проводил их взглядом, автоматически отметил, что на этот раз пришельцев всего пятеро.

Земляне дошли до лагеря, не проронив ни слова, и уже отсюда Грант увидел, как исчез с Хуан-Фернандеса четвертый корабль. До самого рассвета все трое молча сидели у люка «Арго», пока Грант не спросил Дугласа:

— Ты можешь рассказать, что с тобой было... ну, что ты видел, переживал? У самого первого камня?

Дуглас встряхнулся: его мысли вернулись из неведомых далей.

— У первого... сейчас... Да, это я запомнил! Было острое ощущение невероятной ограниченности и скудости наших представлений о прошлом, ясное понимание, что огромные пласты, в которых и скрыто главное, неизвестны нам. Это мучило меня, доводило до иступления. И вместе с тем крепла поразительная уверенность, что впереди историков-антиков ждут великие, просто грандиозные открытия, что все перевернется в прежних представлениях.

И даже, — добавил Дуглас, — что это я... я все переверну.

Грант хмыкнул, сопоставляя это с тем, что пережил у первого камня сам.

— А ты? — спросил он Мартелла, но Мартелл не ответил, он глядел в сторону долины и беззвучно шевелил губами.

Тогда Грант снова повернулся к Дугласу.

— Ну так что же ты об этом думаешь? Что это такое по-твоему?

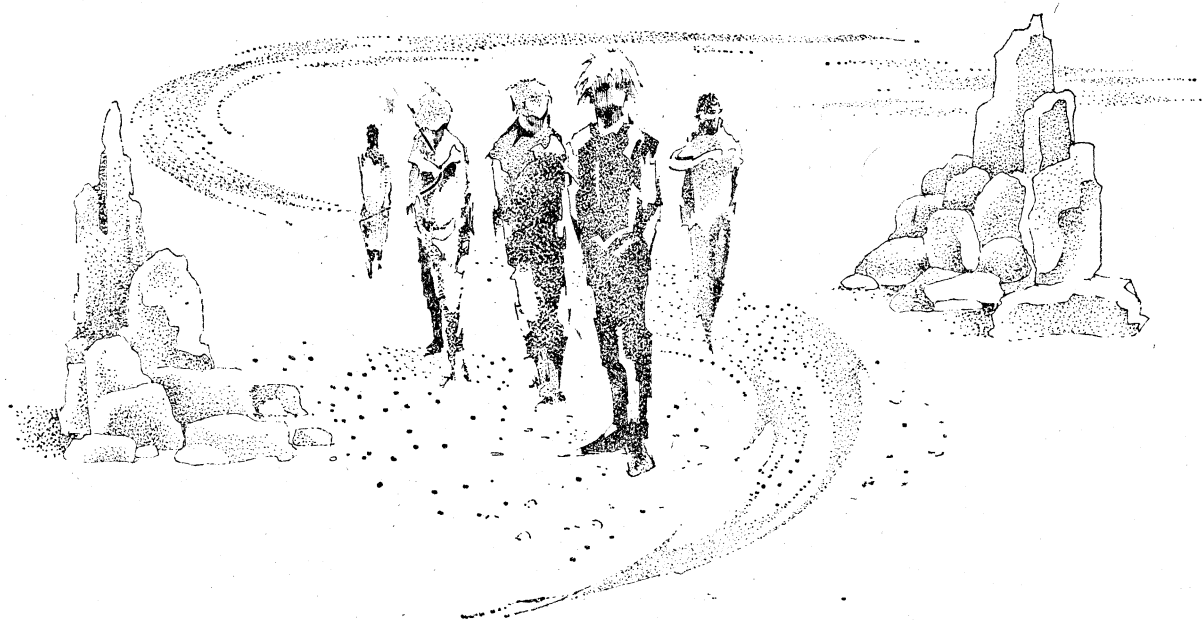
Дуглас думал долго. Он даже закрыл глаза, подставив лицо поднимающемуся Солнцу Матроса Селкирка, и было похоже, будто он ждет от него подсказки.

— Не знаю, — ответил он наконец, — не знаю. Но это что-то такое, что мне помогло.

8.

Тучи, изредка застилавшие небосвод, наконец-то разразились дождем — когда до прилета «Торнадо» оставалось несколько суток. Косые сильные струи ударяли в каменистую почву, вода толстым слоем стекала по невидимым стенкам палатки. На всякий случай Грант наполнял все емкости, какие только нашлись в «Арго», хотя к этому моменту никто из них не страдал от жажды: им вполне хватало тех мизерных порций, что можно было по утрам собирать с груды камешков.

И голод тоже не стал для них злейшим врагом, хотя последняя банка консервов была съедена бог знает сколько дней назад. Грант не без удивления подмечал, что даже внешне Дуглас и Мартелл стали выглядеть лучше. Однажды



Дуглас даже побрился, а глядя на него, сбрил бороду и Мартелл.

Должно быть, капитан Карел Стингл, которому было уже рукой подать до Хуан-Фернандеса, терялся в догадках, слыша по радио голос Гранта — бодрый и жизнерадостный, вовсе не похожий на голос человека, умирающего от голода и жажды. Грант обменивался со Стинглом шутками, просил по дальней связи передать приветы людям, что были ему дороги, заказывал меню первого обеда, который будет устроен на Хуан-Фернандесе из запасов «Торнадо», но ни словом не обмолвился о том, что происходит на планете. Загадку Хуан-Фернандеса они решили разгадать сами, потому что... потому что Карел Стингл ничем не мог помочь им на расстоянии. Кроме того, это была их загадка, это они, а не кто-то другой, столкнулись с нею на своем Таинственном острове. Она пока так и оставалась загадкой, хотя теперь обо всех этих необыкновенных событиях Грант, Дуглас и Мартелл знали куда больше, чем прежде.

Выяснилось: Хуан-Фернандес был весьма оживленной планетой. На него то и дело продолжали прилетать чужие корабли, причем не только по ночам, а в любое время. Поначалу трое робинзонов каждый раз кидались к ново-прибывшим, чтобы показать — они терпят бедствие, им нужна помощь, и каждый раз на них либо попросту не обращали внимания, либо показывали, что не понимают их. Зато всякий раз повторялось одно и то же: следуя за пришельцами по лабиринтам камней, трое робинзонов окунались в мир поразительных ощущений и впечатлений, которые переворачивали душу и надолго оставляли чувство подъема, очищения, свежести...

И вот это в самом деле помогало им жить: откуда-то появлялись новые силы, они забывали о голоде и жажде, их волновали проблемы, оставшиеся вроде бы далеко-далеко отсюда, в большом мире, проблемы, которые, казалось бы, уж никак не могли волновать людей в их положении. Они спорили о стихах, обсуждали результаты археологических раскопок на планете Психея, размышляли о нововведениях в футбольных правилах. В конце концов Грант, Дуглас и Мартелл, уже не пытаясь обратить на себя внимание, просто стали присоединяться к очередной группе инопланетян, чтобы вновь испытать этот очищающий порыв.

Десятки кораблей опустились на Хуан-Фернандес за это время. Это был фантастический парад космической техники, и Грант стал добросовестно запечатлевать каждый образец на пленке. Для специалистов это был бы бесценный материал. Из каждого корабля выходили на Хуан-Фернандес пришельцы — самых разнообразных форм, расцветок, способов передвижения. Такого не видел еще ни один человек Земли!

Здесь побывали существа, похожие на гигантских муравьев, на огромные колобки, на ходячие кактусы, существа шестиногие, восьмирукие, наконец, как две капли схожие с землянами; и Грант тоже всех снимал. Они высаживались огромными группами и по двое-трое. И все без исключения направлялись к камням.

Каменных россыпей, как выяснилось, в долине было несколько. Были и отдельные; обособленные камни. Как заметили Грант, Дуглас и Мартелл, разные группы пришельцев направлялись в разные концы долины. Некоторые, затратив немало времени, обходили все камни. Потом очередной корабль улетал, и робинзоны снова оставались одни, имея полную возможность строить гипотезы, одну невероятнее другой.

Так, Мартелл однажды сказал:

— Наш Хуан-Фернандес — какое-то святое место для этой части Вселенной. Сюда совершают паломничество, чтобы...

Он не договорил. За него продолжил Дуглас:

— Возможно, в самом деле все эти камни — памятники кому-то. К ним приходят... вернее, прилетают, чтобы поклониться, вспомнить...

— А все эти ощущения? — спросил Грант.

— Может быть, какой-то ритуал, — неуверенно сказал Дуглас.

Некоторое время спустя, когда трое робинзонов наблюдали закат, ожидая прихода ночи, одной из последних своих ночей на Хуан-Фернандесе, Дуглас начал размышлять вслух:

— Есть чувства, недоступные людям... пока... в силу несовершенства человека, его психики. Но придет время, и человек откроет эти чувства, совершенно новые, неизведанные, вроде тех...

Он запнулся.

— Ты о чем? — спросил Мартелл.

— Я, кажется, знаю, что это такое. — Дуглас медленно выпрямился. — Это ведь так просто, это...

Грант и Мартелл впились в него взглядами. Дуглас покачал головой.

— Нет... все-таки не знаю. Что-то здесь не так.

А на рассвете Грант один ушел в долину. Он вдруг поймал себя на том, что ему хочется побыть одному: может быть, только тогда и удастся понять — что все это значит? Ему казалось, что ответ где-то уже совсем рядом, почти на поверхности.

Он добрался до самой дальней каменной россыпи, присел на один из камней и дал волю мыслям, которые отчего-то сдерживались, когда рядом были Дуглас с Мартеллом.

Камни... Все дело, конечно, в камнях. Что-то скрывается внутри них, таинственным образом действует на человека, стоящего рядом с при-

шельцами. Видимо, и те испытывают какие-то ощущения — вероятнее всего, и прилетают-то сюда, чтобы испытать их. Так что же это такое? Что скрывается внутри камней?

Он нашел самый маленький среди них и хотел его взять, чтобы принести в лагерь. Там его можно было разбить на части, посмотреть, что внутри. Но и самый маленький камень оказался таким тяжелым, что Грант не смог даже поднять его. Несколько часов спустя, не полевившись, Грант снова пришел в долину, вооруженный тяжелым молотком. Но молоток тот отскакивал от камней, как резиновый мячик, а на них не появилось ни трещины, ни вмятины. Интересно, подумал Грант, есть на «Торнадо» какие-либо приборы для просвечивания твердых поверхностей, изучения внутренних структур? Вряд ли.

Отбросив молоток, Грант снова присел на камень.

«Торнадо» прилетит завтра днем. Он может пробыть на планете лишь несколько часов, иначе, из-за перемещения системы Солнца Матроса Селкирка в пространстве, легкому кораблю не хватит топлива на обратный путь. Значит, ни о каких исследованиях не будет и речи. Вот бы повезло, и во время стоянки «Торнадо» на Хуан-Фернандесе прилетела очередная партия... экскурсантов. Тогда капитан Карел Стингл увидел бы все своими глазами, сам бы все испытал.

Грант усмехнулся, когда на ум ему пришло это слово — «экскурсанты». И в то же время оно всколыхнуло что-то в его сознании, пробуждая неясные ассоциации. Ему показалось даже, что это слово имеет некое отношение к разгадке, но вот только какое? Некоторое время он поворачивал его в мозгу так и эдак... Нет, ничего это слово не давало.

Итак, хорошо бы Карелу Стинглу все увидеть своими глазами. И хорошо бы взять один из камней на борт «Торнадо», чтобы доставить туда, где им смогут заняться специалисты. А впрочем, нет, подумал он тут же. Все надо оставить на Хуан-Фернандесе как есть. Ясно, что нужна специальная экспедиция, и она обязательно будет здесь работать.

Он представил себе людей, которые будут вести здесь исследования, и что-то кольнуло его. Сам-то он уже будет далеко отсюда — вероятнее всего, через какое-то время вернется на «Антарктиду». Туристы Мартелл и Дуглас тоже займутся обычными делами. Правда, Мартелл, конечно же, напишет свою книгу, и она пойдет нарасхват. Дуглас опять окупнется в мир Елены Прекрасной и Троянской войны. И всем им будет не хватать этих камней с необыкновенными свойствами, поразительных ощущений, перевооружающих все внутри, поднимающих мысли, чувства, устремления на необыкновенную высо-

124) ту, высвобождающих все скрытые силы души...

Грант встал и прошелся взад и вперед. По всем биологическим законам он должен был бы сейчас еле ноги таскать. Вот уже сколько времени во рту не было ни крошки еды. Все дневное питание — несколько глотков воды. А он бодр и свеж, и даже боль в колене давным-давно прошла. И всему причиной — эти камни, молчаливые, обычные на вид, но скрывающие в себе удивительные свойства...

Он окинул взглядом всю долину, все эти сотни камней. И вновь что-то шевельнулось внутри него; вновь пришло чувство, что разгадка совсем близко, надо только сделать какое-то незначительное усилие. Что же мешало ему?

Неужели придется дожидаться тех достаточно отдаленных времен, когда на Хуан-Фернандесе будет работать экспедиция, когда она опутает камни проводами приборов, исподволь собирающих разнообразную информацию? И кто-то другой, а не он сам найдет ответ...

Подняв молоток, Грант еще раз ударил по камню. Ударил просто так, не ожидая каких-то результатов. Молоток, как и следовало ожидать, вновь отскочил, как резиновый мячик. Усмехнувшись, Грант двинулся в обратный путь. Почему-то после этого последнего удара на душе у него стало очень легко, даже весело. Он шел, насвистывая задорную мелодию, гвоздь сезона. И хотя он уходил от камней, ему казалось, что каждый шаг приближает его к разгадке. Даже мелодия, которую он насвистывал, тоже, похоже, имела отношение к разгадке.

9.

«Торнадо» опустился на Хуан-Фернандес в тот момент, когда на планете не было чужих кораблей. Медленно осела пыль, поднятая тормозными двигателями. Открылся люк, показался капитан Карел Стингл, облаченный в скафандр. Это было понятно: хоть воздухом Хуан-Фернандеса можно было дышать, кто знает, какие в нем могли быть микроорганизмы. Поэтому, как ни трудно было представить, Гранта, Дугласа и Мартелла ждал карантин.

Стингл быстро ступил на землю планеты. Следом, тоже в скафандрах, появились два других члена экипажа с пластиковыми сумками в руках. Трое робинзонов стояли возле «Арго»: потом они кинулись к новоприбывшим, а те побежали навстречу.

Грант и Стингл обнялись. Сквозь стекло шлема было видно, что лицо у капитана действительно загорелое, и Грант улыбнулся. Но лицо у капитана по понятным причинам было озабоченным, и, отпустив на мгновение Гранта, он обернулся к своим спутникам. Тут же появились приготовленные заранее пищевые рационы. Ни-

чего лишнего, именно то небольшое, что прежде всего необходимо человеку, долго страдавшему от голода.

Они поели, медленно, с наслаждением.

Однако на лице капитана Карела Стингла Грант легко читал и удивление, потому что, без сомнения, тот был готов к гораздо худшему.

— Все не так плохо! — подмигнул ему Грант. — Кроме того, мы приготовили вам сюрприз.

— Потом поговорим, — неуверенно сказал Стингл, — отдохните сначала.

— Да нет, — ответил Грант, — сейчас.

Загорелое лицо капитана Стингла все больше вытягивалось, когда он в крошечной рубке «Арго» просматривал стереоснимки кораблей, побывавших на Хуан-Фернандесе, и разнообразных существ, прилетавших в них. Наконец он без сил опустился в кресло.

— Камни? — сказал он. — Они все ходили смотреть на камни?

В нем сработала какая-то пружина, и, выскочив из рубки, капитан крупными прыжками помчался в долину. Грант настиг его только тогда, когда капитан, обойдя все россыпи, уже сидел на одном из камней в глубокой задумчивости.

— Вот что, — хрипло сказал Стингл, увидев Гранта, — в любом случае мы не можем оставаться здесь более двух часов. Ты же сам навигатор, должен понять. А вообще, — признался он, — у меня голова идет кругом.

— Еще бы, — сказал Грант.

— Нужна специальная комиссия. Даже если мы рискуем остаться, вряд ли это много даст.

— А сам ты что про все это думаешь?

— Да я не знаю, что и подумать, — искренне ответил Карел Стингл. — Во всяком случае, мне бы страшно хотелось увидеть все это своими глазами.

Грант взглянул в прозрачное небо, словно ожидая, что вот-вот опустится еще чей-то корабль. Ему этого тоже очень хотелось.

Но за те два часа, что «Торнадо» оставался на Хуан-Фернандесе, так ничего и не случилось. Пришел момент расставания с планетой, давшей на время приют робинзонам. Как выяснилось, для них уже была приготовлена герметическая карантинная камера с круглыми большими иллюминаторами, сквозь которые экипаж во время полета мог смотреть на них, а они на экипаж.

Сквозь специально устроенный шлюз Грант, Мартелл и Дуглас вошли в камеру. Шлюз закрылся. За иллюминаторами они увидели салон «Торнадо» с обеденным столом, с экраном, у которого экипаж собирался во время отдыха, с земными пейзажами на стенах.

— Хорошо, хоть в грузовой отсек нас не засунули... — У Мартелла отчего-то испортилось настроение.

Во время старта у капитана Стингла и двух членов экипажа хватало работы. Салон был пуст. Грант, Дуглас и Мартелл полулежали в креслах, вяло переговариваясь. Наступила реакция: только теперь они почувствовали, как безмерно устали за эти недели.

Потом, когда «Торнадо» лег на курс, в салоне появились капитан Стингл и бортмеханик Ростислав Четвериков. Их лица, нарочито веселые и бодрые, прильнули к иллюминаторам.

— Ну вот, — недовольно проворчал Мартелл. — Мы тут как экспонаты в музее, подходи, смотри!

Под Дугласом вдруг скрипнуло кресло. Что-то изменилось внутри камеры, Грант и Мартелл просто физически это почувствовали.

— Музей? — повторил Дуглас странным, резким голосом. — Ты сказал — музей?

Грант и Мартелл обернулись. Дуглас, выпрямившийся в кресле и похожий на сложенный пополам циркуль, обхватил голову руками. Взглядах его билась какая-то сумасшедшая мысль. На мгновение в карантинной камере стало очень тихо, а потом историк выскочил из кресла и стал расхаживать взад и вперед. Ему то и дело приходилось поворачивать, потому что было очень мало места, он бешено размахивал руками и едва не задевал Гранта и Мартелла. Наконец он остановился.

— Так, значит, вы еще ничего не поняли? — спросил он медленно и нараспев. — Знаете, что все это значит? Знаете, где мы с вами были? Знаете, что такое Хуан-Фернандес? — он мотнул головой и выкрикнул: — Это Лувр! Прадо! Эрмитаж! Вот что это такое!

— Постой, постой, — начал Мартелл, но Дуглас уже взорвался.

— Эта планета — музей! Картинная галерея! Понимаете? Здесь собраны произведения искусства, только искусства особого рода, до которого мы еще не доросли. Это искусство переносит душу, открывает в том, кто с ним соприкоснется, самые глубокие тайники души! В этих камнях музыка, живопись, поэзия — все вместе взятое!

— Постой, постой, — снова начал Мартелл, но Дуглас лишь отмахнулся.

— Да мы слепцы, если не поняли этого сразу же! Какая-то цивилизация создала здесь постоянную выставку, о которой все знают. Все спешат прикоснуться к этому виду искусства, еще не ведомого землянам.

Грант тоже встал. Догадка, которая крутилась у него в голове, почти сформировавшаяся...

— Искусство, — повторил он, словно пробуя это слово на слух. — Искусство...

— Конечно! — вскричал Дуглас. — Я не вижу другого объяснения! Видимо, на пути развития цивилизации, а вернее, личности наступает момент, когда мало уже просто музыки, просто

живописи, и искусство становится иным, поднимается на более высокую ступень. Оно становится всеобъемлющим, невидимым, уже не нужен предмет, которым воздействует художник, — картина или роаяль. Оно просто входит в сознание. Как, чем это достигается, я не знаю. А может быть, у них никогда и не было ни музыки, ни живописи... Я не знаю!

— Какое-то психофизическое воздействие? — сам себя спросил Грант. — В камнях скрыто что-то такое, что открывает человеку нечто внутри него самого...

— Конечно! Ты заметил, у разных камней мы испытывали разные чувства. Да и возле одного камня, должно быть, разные существа тоже чувствуют по-разному. Это ведь как наша музыка, которая тоже пробуждает у разных людей различные чувства.

— Но почему же именно камни?

— Да откуда я знаю! — отмахнулся Дуглас. — Это же совсем не важно! Важно то, что мы теперь знаем: существует более высокая ступень искусства! Мы соприкоснулись с ним!

Грант поворачивал в голове эту необыкновенную мысль, и перед ним вихрем вновь проносились то, что было испытано возле камней. Искусство, пока недоступное землянам, искусство совершенно особого рода...

Лица Стингла и Четверикова, прежде нарочито бодрые, стали изумленными. Ничего не понимая, они смотрели на бешеную жестикуляцию Дугласа, на Мартелла, застывшего в своем кресле с приоткрытым ртом, на Гранта, что-то изредка отвечающего на страстные тирады историка. Потом Четвериков догадался включить связь, и в салоне загремели возбужденные голоса.

— Конечно! Это искусство совсем другое, потому что и создатели его другие! Они выше нас, они творят на совершенно другом уровне. Мы лишь прикоснулись к этому искусству, мы ничего толком не можем понять! Представь дикаря, слушающего Бетховена. Мы сейчас такие же дикари!

— А цель искусства всегда одна — пробудить в человеке добро, ненависть, недовольство собой, устремление вперед... Все правильно!

— Но почему же камни? Я все думаю — почему камни? Что может быть в них спрятано?

— Да, это потрясение, очищение...

— А камни... Да это неважно! И они специально отвели эту планету под постоянную выставку. Вся планета — музей! Для всех цивилизаций, которые знают о его существовании!

— И почему для нас камни так и оставались камнями? Почему все это можно было переживать, только когда прилетали другие?

— Может быть, их надо как-то включать... Мы не умеем... Не знаю.

— Включать... камни?

— Да это и неважно! И смотри, экспонента

⁽²⁶⁾ прослеживается здесь совершенно отчетливо. У нас на Земле искусство становится все действеннее, совершенствуясь, оно все сильнее воздействует на сознание. А здесь — несравненно более высокая ступень: нечто, нам еще неизвестное, мы знакомы только с результатом, а как он достигается?..

— Видимо, все очень сложно...

— И этим объясняется, между прочим, почему на нас никто не обращал внимания! Разве ты сам, придя в музей, смотришь на тех, кто ходит рядом по залам? Разве пробуешь с ними заговорить, особенно если видишь, что они не знают твоего языка? Все они считали, что мы тоже прилетели сюда, к камням...

— Да, это объясняет...

Дуглас и Грант вдруг разом замолчали и посмотрели друг на друга. Оба почувствовали, что с их плеч словно упала огромная тяжесть, которая мешала ходить прямо. Оба знали, что если и не разобрались во всем полностью, то уж, во всяком случае, не во многом ошибаются. Здесь, пожалуй, действительно не подходила ни одна другая гипотеза. И до чего же хотелось верить, что так все и есть!

А вместе с тем взамен одной тяжести на плечи легла другая. Сознание того, как мало еще продвинулся вперед человек. Лишь случай позволил ему прикоснуться к ценностям, которыми владеют другие. Да он и не понял, по сути, ничего толком. Вполне вероятно, их рассуждения и догадки действительно сродни представлениям пещерного человека, доведись тому услышать Бетховена. Все, видимо, было неизмерно сложнее, тоньше, глубже.

Они снова опустились в свои кресла. Впереди был долгий путь к ближайшей из систем, освоенных человечеством, которая на самом деле была бесконечно далеко от Солнца Матроса Селкирка, от планеты Хуан-Фернандеса с ее камнями, созданными неизвестно кем и когда и каким образом. Зато налицо то, что уже сейчас может дать сотворенное ими человеку...

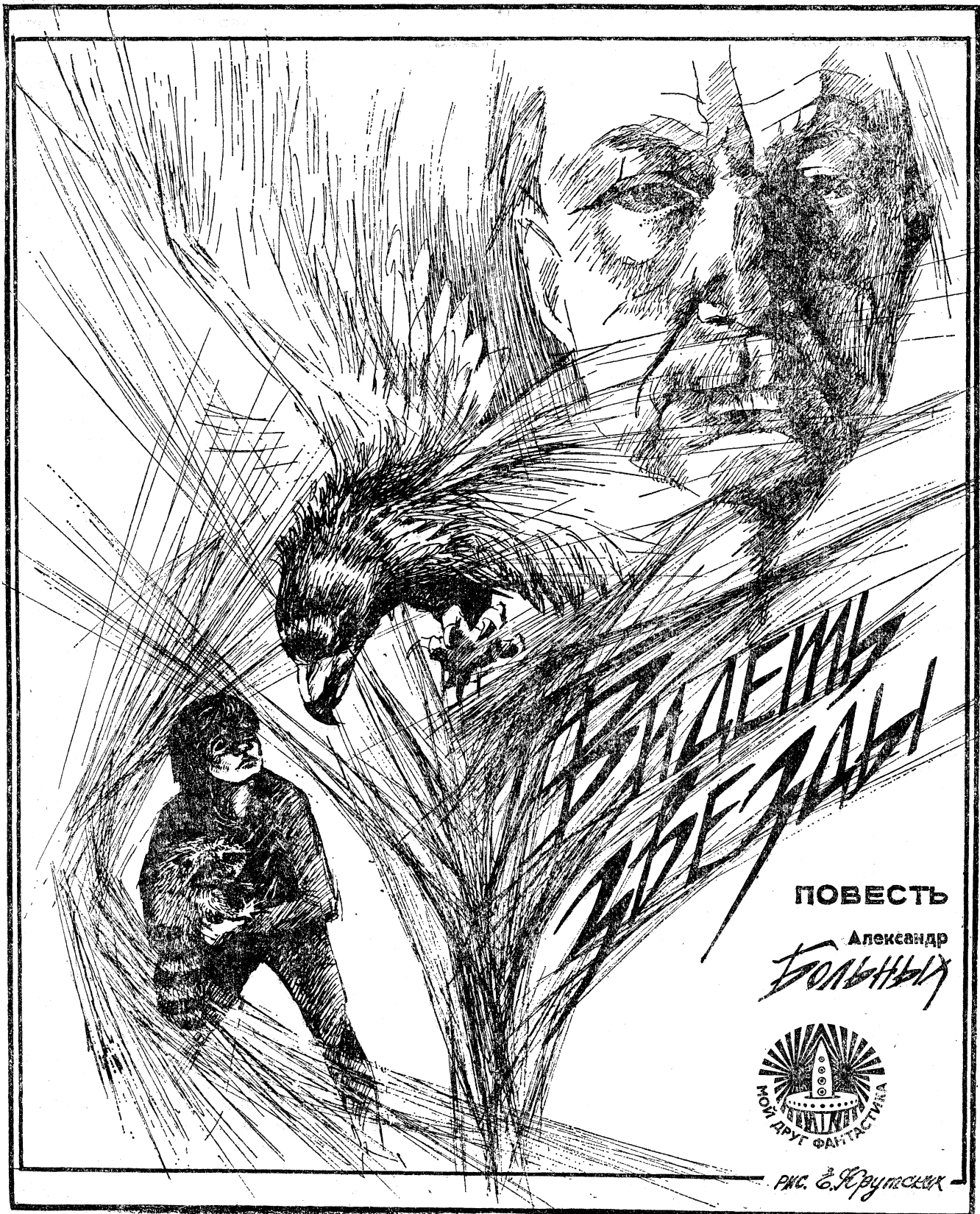
Поймав изумленный взгляд Мартелла, Дуглас ему подмигнул.

— Лувр, — повторил он уже спокойно. — Мы все, Мартелл, только что побывали в Лувре. Только в Лувре очень далеких будущих времен, до каких мы пока еще не доросли.

— Вы не устали? — прозвучал в карантинной камере неуверенный голос Стингла. — Может быть, вам лучше отдохнуть? Поговорить у нас еще будет время.

Дуглас пошевелился в кресле.

— Конечно, устали, — согласился он, вытягивая длинные ноги. — У нас ведь была такая продолжительная экспедиция! И без экскурсовода! «Торнадо» все дальше улетал от Солнца Матроса Селкирка.



ПОВЕСТЬ

Александр

Большой



Изд. С. Крутских

Староста сыто рыгнул и утер рот ладонью. Потом отряхнул крошки, запутавшиеся в бороде, и довольно вздохнул.

— Хорошая у тебя каша.

Мать робко улыбнулась.

— Хорошая каша,— повторил староста, снова вздыхая. Было заметно, что он совсем не хочет вставать из-за стола.

— Может, еще? — предложила мать.

Староста грустно погладил себя по животу.

— М-да. То есть нет,— остановил он метнувшуюся было к печке женщину.— Довольно. Но я разрешаю тебе принести завтра в мой дом горшок каши. И побольше.

Крошка Енот, привлеченный аппетитным запахом, пушистым шариком мягко соскочил с печки и, внимательно принюхиваясь, начал подкрадываться к валявшимся под столом комочкам — староста ел неаккуратно. Когда он, стелясь по полу, подполз совсем близко, староста, следивший за ним из-под полуопущенных век, метко пнул Крошку в бок. Тот, обиженно взвизгнув, стремительно вылетел в открытое окно и, жалобно таякая, нырнул в кусты.

Староста обрадованно ухнул.

— Как я его?!

— Так ведь...

— Хватит! — мясистая ладонь с треском легла на стол.— Хватит! Если я позволяю тебе кормить себя, это еще не значит, что я буду покрывать твоего сына. Думаешь, я не знаю?!

— Что с ним?

— Это значит, тебя надо спрашивать! Что, видишь ли! Кто давеча хвастал, что видит... — Староста беспомощно пошевелил короткими толстыми пальцами, напрягся, наморщил лоб, жарко засопел.— А! Эти самые... звезды.

— Что? — переспросила мать.

— Вот и я говорю: что? Какие такие звезды?

Мать покачала головой.

— Никогда не слыхала этого слова.

— «Не слыхала...» — сварливо передразнил староста.— Ты не слыхала, я не слыхал, никто не слыхал... Вот только из Города ко мне гонец прискакал, значит. Требуют твоего сына в Город. Ну, а что там будет — не мне говорить, сама знаешь. А как не захочет — стражников пришлют, тогда всем плохо будет.

— Но за что?

Староста презрительно выпятил губу.

— Молчи. Сказано — значит, исполнить.

Он встал, с хрустом потянулся и важно огладил бороду, которой очень гордился. Еще раз вздохнул.

— Вкусно. Скоро, значит, еще раз загляну. Я, конечно, не сказал ничего, ни про слова запретные, ни про то, что по ночам шляется... Не нужны лишние напасти на деревню. Но сыну ты так и передай: велено ему завтра же собираться и отправляться в Город без промедления.

(28) Чтоб послезавтра был в Магистрате. И никаких! А то я ему! — Староста помахал увесистым кулаком.

Потом повернулся и, тяжело ступая, направился к двери. Уже открыв ее, остановился и напомнил:

— Принеси, значит, горшок побольше. И чтобы горячая была. Я ведь того... молчал.

Когда староста ушел, мать долго сидела неподвижно, глядя на захлопнувшуюся дверь. Потом решительно встала и, высунувшись из окна, позвала:

— Крошка! Крошка!

В кустах, подступавших к самому дому, что-то пискнуло, завозилось.

— Иди сюда, Крошка, его больше нет.

Крошка Енот таякнул, выглянул из зарослей, но выходить не рисковал.

— Давай-давай, трусишка!

Он презрительно фыркнул, показывая, что ничегошеньки-то не боится, ленивой трусцой, вразвалочку подошел к окну, одним прыжком махнул на подоконник и уселся, расчесывая шикарные черно-белые бакенбарды. Он просто забыл что-то в лесу, а вот сейчас сбегал и вернулся.

— Ладно, будет хорохориться. Староста плохой человек, но пока я ничего не могу сделать... — Крошка Енот поднялся на задние лапы, уперся передними ей в плечи и лизнул прямо в нос.— Ну-ну, прекрати, не маленький,— незлобно отмахнулась она, потрепав его по загривку.— Ты знаешь, где Тайлон?

Крошка Енот утвердительно пискнул.

— Сможешь найти?

Снова согласие.

— Тогда беги и приведи. Немедленно приведи.

Крошка еще раз таякнул и, задрав хвост, слетел с подоконника, только ветки кустов чуть шевельнулись, смыкаясь за ним. Мать покачала головой, задула плешь и села у окна, вглядываясь в вязкую, непроницаемую черноту леса.

Наверху было прохладно. Легкий ночной ветерок, который не мог пробраться вниз, путался в подлеске, здесь, пробегаю по вершинам, начинал даже посвистывать. Он цеплялся за ветки и довольно шуршал листвой, когда удавалось раскатать какое-нибудь молодое деревце. Однако кряжистый старый дуб, серо-зеленый от возраста, покрытый неровными белесоватыми пятнами лишайников и такой толстый, что любая из его ветвей казалась настоящим деревом, сонно и презрительно поглядывал на беготню не в меру расшалившегося мальчишки. Лишь изредка, нехотя, он встряхивал двумя-тремя листьями на самой вершине и снова погружался в дремоту. Тайлон, удобно устроившись в развилке двух

исполинских ветвей, совсем не чувствовал ветра. Только влажная ночная прохлада заползала под меховую куртку, заставляя нервно ежиться. Зябко передернув плечами, Тайлон плотнее запахивал воротник и не двигался с места. Он ждал.

Небо, чуть окрашенное на самом горизонте слабыми отсветами уходящего заката в мутно-багровые тона, стремительно темнело, в то же время приобретая какую-то особенную прозрачность. Волокнистый сумрак, сквозь который нельзя было ничего увидеть, исчезал, стираемый взмахами невидимой руки, уступал место завораживающей, манящей черно-синей хрустальной бездне... Тайлону казалось, что перед ним открылся вдруг огромный колодец с кристально-чистой водой. Но он ждал другого.

По небу словно прокатилась невидимая волна, гонимая ветром. Не этим слабым ветерком, а мощным шквалом, летящим где-то высоко-высоко... Тайлон смахнул выступившие на покрасневших от напряжения глазах слезы.

Вот оно.

Прямо над ним в недостижимой дали вспыхнул крошечный золотистый светлячок. Сначала робко, едва заметно, а потом все увереннее и ровнее сиял он, наливаясь радостным теплым светом. Он был похож на маленькое солнышко.

Вслед за ним загорелся другой, своим холодным серебристо-голубым блеском напоминавший крошечную льдинку. Тайлон обрадованно улыбнулся. Эти два огонька каждый день вспыхивали первыми, и он уже твердо знал, где именно появятся Крупинка Солнца и Далекая Льдинка — так он прозвал огоньки.

А потом одна за другой на небо высыпали мириады блестящих искорок. Они были самые разные: большие и маленькие, яркие и тусклые, пронзительно-белые, тепло-желтые, тревожно-красные, успокоительно-зеленоватые, разные... Тайлону никогда не надоело любоваться ими. Каждый раз пестрая светящаяся мозаика складывалась в новый узор, напоминавший вчерашний, но уже чуть-чуть другой, ни разу не повторившийся. Огоньки как будто играли с ним в прятки — недавно я был там, а сейчас попробуй отыщи. И Тайлон искал, радуясь, когда удавалось обнаружить спрятавшегося хитреца, и огорчаясь, когда огонек пропал.

Плохо было лишь то, что не с кем поделиться этой красотой. Когда он попытался рассказать о ночных картинах Хомеру, тот посмотрел на него непонимающими глазами и сказал, что много раз выходил ночью по нужде, но никогда не замечал ничего подобного. А на следующий день, запинаясь и краснея, сообщил, что родители запряцают ему дружить с Тайлоном и лучше будет, если Тайлон перестанет приходить к ним.

Мама тоже ничего не поняла, только перепугалась страшно и потребовала, чтобы Тайлон никому не рассказывал о том, что видел. И до-

бавила, что ему это просто кажется, что ничего этого нет, что это ночные духи шутят. И вообще — пшеничные деревья уже зацветают, надо собрать червеца, иначе ничего не уродится. Словом, на следующую ночь Тайлон спал как убитый.

Но он чувствовал, что мама чего-то недоговаривает, что-то скрывает. И спустя несколько дней снова тайком выскочил ночью в окно. Мама даже хотела его выпороть, но только вздохнула. И Тайлон продолжал убежать. Она лишь взяла с него слово, что он будет молчать. А что, ему самому, что ли, нужно, чтобы его за сумасшедшего считали? С тех пор он спокойно приходил к старому дубу, где облюбовал место, чтобы смотреть на небесные огоньки. Мама однажды назвала их... Как же... Как она тогда сказала?.. Звезды. Хорошее слово. Звезды. Звезд-ды. Оно кажется таким же маленьким и лучистым, как сами небесные огоньки. Попробуйте, повторите. Звезд-ды. Слово колючим шариком прокатится по языку и, звеня, упадет наружу.

Огоньки тем временем заполнили все небо. Они весело переливались, подмигивая друг другу, и Тайлон слышал, как они разговаривают о чем-то своем, точно в небе звенит множество хрустальных колокольчиков. Иногда он даже пробовал сам заговорить с ними, но огоньки не замечали его попыток, не слышали. Наверное, далеко было, а кричать Тайлон опасался. Или, может быть, просто не понимали?

Под дубом кто-то заскребся.

Тайлон посмотрел вниз, но ничего не увидел. Впрочем, все равно уже пора было домой — чтобы успеть в школу, путь неблизкий, вставать приходилось очень рано. Тоже забота — тащиться в соседнюю деревню, слушать унылый сонный голос Учителя Мори, бубнящего что-то невнятное.

Тайлон повис на руках, цепляясь за высохший сук, уверенно, не глядя, прыгнул вниз, на огромную ветвь, обхватить которую не смог бы и взрослый мужчина. Цепляясь за трещины в заскорузлой бугристой коре, он быстро начал спускаться знакомым путем, пройденным уже не один десяток раз.

Когда чуть запыхавшийся Тайлон спрыгнул в траву, уже покрывшуюся прохладной ночной росой, чьи-то крохотные лапки схватили его за ногу. Тайлон вздрогнул было, но, опомнившись, поднял Крошку Енота на руки.

— Ох и тяжелый же ты стал! Вырос, а все балуешься, как маленький.

Крошка Енот лизнул его в ухо и заскулил, жалуясь.

— Обидели? Кто? Неужели мама?

— Приятель недовольно пискнул.

— Староста? Ну, мы ему еще покажем, вот увидишь.

Крошка Енот сунулся носом Тайлону за во-



ротник и довольно засопел, но, спохватившись, завозился, вырвался из рук и, прыгнув на землю, затыкал, нетерпеливо подскакивая на месте.

— Мама зовет домой?

Крошка Енот утвердительно кивнул и затрусил в темноту, оглядываясь. Видя, что Тайлон не спешит, он вернулся, вцепился зубами в штанину, потащил за собой.

— Нужно быстро? Хорошо, иду.

— Ты опять ходил смотреть... смотреть...— мама никак не могла найти нужного слова.— На небо.

Тайлон молча пожал плечами и накинулся на аппетитно дымящуюся в миске кашу.

Мама укоризненно покачала головой.

— Ты уже почти взрослый, мог бы и думать, что делаешь. Ты должен вести себя поосторожнее, мало ли, чего тебе хочется... Нужно уметь сдерживать желания.

Крошка Енот, сидя на соседнем стуле, чуть склонив голову, заинтересованно следил за визитами ложки в миску, время от времени произвольно облизывался, жалобно подмаргивая блестящими черными глазками. Тайлон, не выдержав, кинул полную ложку каши на пол, и Крошку словно ветром сдуло. Жадно урча, он исчез под столом.

— А у нас староста был,— как бы между прочим сказала мама.

— Знаю,— отозвался невнятно Тайлон, не отрываясь от миски.— Крошка мне все рассказал.

— Рассказал-то рассказал,— вздохнула мама.— Но не все. Он не мог сказать, зачем приходил староста.

— А зачем?— без интереса спросил Тайлон, подливая в кружку молока.

— Тебя вызывают в Город.

Тайлон отодвинул миску и присвистнул.

— Вот это да!

— Добегался.

— Интересно, кому это я понадобился?

— Староста сказал, что тебя вызывает Магистрат.

130

У Тайлона глаза на лоб полезли.

— Вот это да...— только и смог выдавить он.— Здорово.

— Уж куда куда лучше,— сухо заметила мать.

— А что, посмотрю наконец, как живут люди в Городе. Ведь это интересно. Не всю жизнь торчать в нашей деревне. Не видишь ничего, кроме леса и плантации.

Мать села рядом, грустно улыбаясь.

— Ничего ты не понял.

— Нет, почему? Откуда вот только Магистрат узнал, что я есть?

Крошка Енот, видя, что больше ему ничего не перепадает, решил позаботиться о себе сам. Он влез на колени к Тайлону, опасливо оглянувшись на маму и тихонько, как бы невзначай и ничего не имея в виду, вспрыгнул на стол. Немного поколебавшись, направился было к кружке с молоком, которое обожал до самозабвения, но Тайлон спихнул его на пол. Крошка Енот обиделся до глубины души, фыркнул и ушел в свой угол. Свернувшись клубочком на подстилке, он то и дело испускал душераздирающие жалобные вздохи, показывая, как несправедливо с ним обошлись, и намекая, что еще не поздно, почувствовав угрызения совести, исправить эту ошибку... К его удивлению, сегодня этот незамысловатый, но безотказный трюк не подействовал.

— Откуда Магистрат узнал? Да от тебя самого.

— Но я не разговаривал ни с кем из Советников!

— Зато, несмотря на все мои предупреждения,— мать понизила голос, перейдя на полусшепот,— слишком много болтал о звездах.

— Но почему нельзя?— не понял Тайлон.

— Даже само слово это запрещено,— хмуро сказала мать.

Тайлон посерьезнел было, потом махнул рукой.

— Подумаешь, что они мне сделают?

Мать оперлась подбородком о сцепленные руки, с сожалением глядя на Тайлона.

— А ты не знаешь, чем кончаются подобные визиты в Магистрат? Вспомни старого Атарна. Он тоже отправился туда, где он теперь? Нет его, и никто ни полслова о нем не слышал. Подвалы Ратуши велики, двери прочны, замки надежны, а стены толсты.

Тайлон нахмурился.

— Это ждет и меня? Только за то, что я говорил о звездах?

— Да, только за это,— жестко отрезала мать.

— Ну и ладно. Тогда я просто не пойду в Город. И всех делов.

— Не пойдешь ты — в деревню явятся стражники.

— Еще никто не мог отыскать меня в лесу,— презрительно махнул рукой Тайлон.

— Если эти станут искать — найдут обяза-

тельно. Ты по-прежнему не думаешь, откуда тебе узнал Магистрат? И зря. В каждой деревне у него есть доглядчики. Уж им-то хорошо известны все тайные тропинки, все укрытия. Они как волки шныряют повсюду. Ходят среди нас, живут вместе с нами, улыбаются нам, говорят с нами. И служат Магистрату... Может быть, и сейчас кто-нибудь притаился под окном и слушает нас.

Тайлон испуганно обернулся, вскочил, как ужаленный, и бросился к окну. Высунувшись по пояс, он попытался разглядеть что-нибудь и чем дальше вглядывался, тем больше верил, что там, за кустом, прячутся... Плотно закрыв ставни, он вернулся на место.

— Никого нету, — неуверенно пробормотал он. — Скажешь тоже... Шуточки...

— Когда бы шуточки.

— А если они найдут меня?

— Ты невнимательно слушал. Я сказала: «если станут искать». Если. Скорее всего они просто спялят деревню и увезут с собой не тебя одного, а двадцать пять человек, как велит закон. Один отвечает за всех и все — за одного. Ты невнимателен везде, учитель должен был сказать вам об этом.

— Что же мне делать? — всерьез перепугался Тайлон.

— Бежать. И не теряя времени.

Он облизнул пересохшие губы.

— И все потому, что я говорил о звездах?

— Потому, что ты видел их.

Это было давно. Так давно, что никто уже точно и не помнит, как это было на самом деле. Люди говорят самое разное.

На Планете был не один город, а много. Люди были другими, они больше знали, больше умели. Например, умели ездить на железных повозках гораздо быстрее, чем на лошадях. Плавать по морю на железных кораблях быстрее рыб. Они умели даже летать выше, чем птицы. Никто теперь не скажет, как они это умели, ведь умели же!

Люди были сильными. Помогали им невиданные железные слуги, о которых нынче позабыли. Они могли даже улететь с Планеты, что не под силу и птицам. Были такие огромные воздушные корабли — ракеты. Поговаривают — Магистрат жестоко преследует эти слухи, смущающие умы, но иногда, шепотком... — что люди жили на Планете не всегда. Давным-давно они прилетели сюда на множестве ракет и начали строить такие же города, какие были у них на родине. Где она, эта родина, и почему люди улетели отсюда, не рассказывают даже предания. Может быть, в подвалах Ратуши в старинных книгах, которые и не книги вовсе, а маленькие разноцветные прозрачные камешки, написано об этом.

Или, возможно, память об этом хранится на мягких коричневых лентах, лежащих в железных сундуках Дворца Хозяев. На этих лентах самый острый глаз не различит ни единой буквы, но, говорят, там записана вся история Планеты.

Однажды на родине что-то случилось. Прилетела ракета с вестями, которых никто не узнал, а только Совет Хозяев приказал готовиться к войне. Никто не хотел — но приказали. Вроде кто-то угрожал Планете, собирался превратить всех людей в рабов.

Было изобретено страшное оружие, уничтожавшее совершенно все. Совет Хозяев собирался применить его против сил зла, но что-то тогда не рассчитали, и оружие сработало раньше времени — на Планете. Прямо на земле вспыхнуло зеленое солнце. Огонь его не был горячим. Он не сжигал, а проглатывал людей, дома, деревья — все, что встречал на своем пути. Пылающий шар прокатился по Планете, оставив за собой серую пустыню.

И тогда Магистрат уцелевшего города проклял Хозяев, стражники схватили их. Но Дворец Совета остался — как напоминание о том зле, которое несет с собою богатство.

На этом Магистрат не остановился. По его Приказу были сравнены с землей все уцелевшие руины — ничто не должно было напоминать о Великой Бедѣ. Железные лодки были утоплены в море, железные повозки сброшены в горные пропасти, железные птицы похоронены в глубоких пещерах. Особенно тщательно Магистрат уничтожал ракеты — их разбирали на куски и разбрасывали по всей Планете, чтобы никто и никогда не смог восстановить адские творения, принесшие на Планету несчастье. Немного погодя Магистрат объявил, что все зло проистекает от мерзкого наследия Старого Мира — противоестественных вещей, подчиняющих и порабащивающих людей. Посмотрите, что они сделали с нашей Планетой, с нашей настоящей родиной... какое нам дело до той другой — далекой, может быть, вообще не существовавшей... Наша — вот она.

Именно в тех местах, где впервые вспыхнуло зеленое солнце, возник Неправильный Мир. О нем ничего не известно — никто из рискнувших войти в него не вернулся. Бродят слухи, что там два солнца — синее и красное, что живут там невесты какие чудовища, ненавидящие людей. Но это лишь слухи, с которыми Магистрат тоже борется.

После Великой Беды многие люди заболели неведомыми ранее болезнями. Лекарства были бессильны, смелые врачи умирали первыми, лечить больных стало некому... Страшное было время. Но в конце концов Магистрату удалось найти средство против новых болезней, его стали давать новорожденным, и дети перестали болеть. Со взрослыми было хуже — лекарство на них не действовало, были созданы огромные ла-

геря карантина, из которых мало кто вышел... Дети же перестали болеть. Но одновременно что-то случилось с их глазами — они больше не видели звезд, хотя вообще-то зрение не ухудшалось. Ни объяснить это, ни поправить не удалось.

Магистрат объяснил, что это и хорошо. Незачем людям видеть то, что не приносит никакой пользы, а только смущает умы. Там, на звездах, гнездится зло, там Старый Мир... зачем нам все это? И еще спросили Советники: хотите ли вы войны и повторения Великой Беды? Те, кому посчастливилось выжить, ответили: нет. Тогда Советники сказали: забудьте же о звездах, от них исходит свет несчастья. Тем более что ваши дети их и не видят. Дайте им жить спокойно, вашим детям, ведь вы хотите им счастья? Люди согласились. Само слово «звезды» стало запретным, следить же за небом никто не решался: на нем лежал отпечаток Беды.

Но ходит по свету сказка, что где-то далеко-далеко, в самой середине Неправильного Мира, куда Магистрат не смог добраться, сохранилась одна ракета. Та самая, последняя... Она ждет, когда придет человек. Откроется железная дверь... А что будет дальше — не ведомо никому.

— Откуда ты все это знаешь?

Мать усмехнулась.

— Так ли это важно?

— Интересно ведь...

Она встала.

— Нет, слишком большое знание опасно. Старые легенды и так могут завести тебя дальше, чем в подполье Ратуши. Если же ты будешь знать все... Ты сам можешь не выдержать. Впрочем, мы напрасно теряем время.

Мать подошла к печи, пристально поглядела на нее, что-то вспомнила. Потом взяла большой хлебный нож и с размаха воткнула его между кирпичами. Сильно надавливая на рукоятку, обвела ножом один из кирпичей и, пачкаясь в известке и глине, вынула его.

Тайлон с изумлением смотрел на нее — никогда раньше не видал в ней такой решительности и собранности, не мог даже представить... Вечно согнутая спина распрямилась, исчезли мелкие суетливые движения, она стала как-то выше ростом. Даже глаза изменились — из тускло-карих они превратились в золотистые.

Мать сунула руку в образовавшееся отверстие, что-то разыскивая там.

— Держи! — она кинула Тайлону сверкнувшую в слабом свете плоскую маленькую металлическую пластинку на тонкой паутинке цепочки.

— Что это?

— Она поможет тебе найти дорогу к цели. Поможет не заблудиться, когда пойдешь по Неправильному Миру.

(32)

— Но я туда не собираюсь!

— Ты уже выбрал свою дорогу, видящим звезды нет места в этом мире.

— Это амулет? — уважительно глядя на пластинку, спросил Тайлон.

— Амулет? — Мать звонко рассмеялась. И смех у нее переменялся! — Прости. Я не подумала, что тебе предстоит еще многому научиться. Но ты сможешь, ты у меня способный, — с внезапно прорвавшейся гордостью добавила она. — Недаром Магистрат так жаждет с тобой познакомиться.

И она недобро прищурилась.

Тайлон, удивленный тем, что пластинка почти ничего не весит, осмотрел ее и увидел крохотную защелку. Шкатулка! Но такой искусной и тонкой работы он еще никогда не видел. Пораженный внезапной догадкой, он шепотом спросил:

— Это оттуда? Из Старого Мира?

— Да.

— Но ведь...

— Не повторяй чужих глупостей, — остановила его мать. — Я достаточно наслушалась их... Вещи сами по себе не злы и не добры, они просто вещи — не более того. Все зависит от человека, владеющего ими. Заявить, что красивые, изящные вещи — порождение зла, мог только больной. Только ненормальный мог заявить, что жить плохо — лучше, чем жить хорошо! — Она кинула Тайлону теплую куртку. — Поспеши.

— Но я нигде не бывал, кроме нашего леса!

— Не потеряешься. Я же говорила, что лекарство избавило людей не только от болезней. Слишком много оно взяло в обмен на возможность жить спокойно, и еще не известно, так ли обязательно это было...

Догадка сверкнула в голове Тайлона.

— Так мне... мне не давали этого... лекарства?

— Не кричи об этом на каждом перекрестке. Внезапный шорох и бряканье заставили их резко повернуться. Увидев, что именно их напугало, они невольно вздохнули с облегчением — это был всего лишь Крошка Енот. Ему надоело валяться — или же он просто выпался. Но, решив немного перекусить, он принялся действовать самостоятельно: забрался на стол и сейчас, брезгливо отряхивая лапки, сидел с самым невинным видом, рядом с молочной лужей. Вдыхая, он укоризненно поглядывал на опрокинутую кружку, явно не понимая, с чего бы это она упала, ведь лакал он очень аккуратно!

— Мама, а можно я Крошку возьму с собой?

Крошка Енот обрадованно пискнул — ругать его, похоже, не собирались. Спрыгнул со стола, шариком подкатился к Тайлону и, ловко цепляясь за одежду, мигом влез на руки.

— Ладно, — согласилась мать. — Может быть, он даже поможет тебе когда-нибудь.

— Обязательно поможет!

Аэлита-89

— Тут немного еды, — она подала Тайлону мешок. Поколебавшись, протянула массивный нож в потертых кожаных ножнах, раньше Тайлон его не видел. — Возьми. Он тебе тоже пригодится, хотя и не желаю я этого. А теперь — прощай.

Тайлон ожидал, что она обнимет его, может быть, даже всплакнет на прощание. Но мать лишь на секунду прижала его к себе и сразу резко оттолкнула.

— Иди, тебе нужно спешить, мы потеряли много времени. Обо мне не беспокойся. Когда найдешь ракету — поймешь, что делать дальше.

Еще не вполне осознав происшедшее — как-то слишком скоропалительно все получилось, — Тайлон медленно шел по единственной улице деревни. Старые, покосившиеся домики, крышами почти упирающиеся в землю — как бы стремясь закопаться, сделаться незаметнее... Деревья, плотно обступившие их... Придется ли ему еще раз увидеть все это?

Впрочем, Крошка Енот, бежавший рядом, не разделяя его грустных мыслей. Он то и дело с радостным воплем кидался в густую траву за шуршащими там мышами и вообще пребывал в отличном настроении. Приятная ночная прогулка вместе с лучшим другом — много ли нужно для полного счастья?

Когда они проходили мимо дома старосты, Крошка взлетел на крыльцо — единственное в деревне — и, задрвав хвост, отомстил за обиду.

— Хулиган, — беззлобно ругнулся Тайлон.

Но Крошка Енот и ухом не повел.

Вскоре они миновали последние дома. Узенькая тропинка поворачивала вправо, к плантации пшеничных деревьев. Тайлон решительно зашагал прямо. Ни разу он еще не уходил ночью в лес — походы к старому дубу не в счет, ведь это было совсем рядом с домом. Но в просвете между деревьями, едва различимая среди их черных разлапистых силуэтов, мелькала маленькая золотая точка — Крупинка Солнца.

Тайлон оглянулся в последний раз. В неверном, обманчивом ночном свете деревня выглядела почти красиво. Он вскинул мешок на плечо и решительно двинулся по пути, указанному звездой. Крошка Енот недоуменно закрутился на месте — уходить слишком далеко от вкусной каши явно не было им предусмотрено. Но Тайлон не возвращался, и Крошка, недовольно тявкнув, бросился вдогонку.

Ходить помногу Тайлон не привык — жизнь в деревне не требовала этого, и, несмотря на наставления матери, за первую ночь он прошел гораздо меньше, чем хотелось бы. Хорошо еще, что звезда не подвела: почти сразу за околицей

(32) он натолкнулся на неизвестную тропинку. А вдо-
бавок, если признаться честно, он никак не мог справиться со страхом. Ночной лес казался ему жутким и полным опасностей. Тайлон постоянно вздрагивал и останавливался, видя за каждым деревом чудовищ...

Рассвело. Но и днем лес не стал приветливей. Он резко изменился и совсем не напоминал тот, что рос вокруг деревни. Высокие сосны сменились приземистыми, седыми от старости елями, мохнатые лапы которых переплетались в непроницаемую колючую стену. С потрескавшихся стволов свисали длинные блекло-серые полосы мха, тонкого и непрочного. Тайлону мерещилось, что стадо исполинских пауков заплело весь лес своими сетями, подкарауливая таких вот одиноких путников. И хвоя имела какой-то нездоровый, ядовитый оттенок... Главное же, на что обратил внимание Тайлон, — в лесу царил полная тишина. Не было слышно ни птичьих голосов, ни легкомысленного цоканья белки, ни деловитого стукотка дятла. Ничего. Ни единого звука!

Хотя стояла середина лета, земля была по-осеннему грязно-рыжей от покрывавшей ее перепрелой хвои. Плотный, вязкий, удушающий запах чего-то нечистого висел в воздухе, застывшем и неподвижном. Проходя мимо угрюмо следящих за ним деревьев, Тайлон невольно прибавлял шаг, то и дело переходя на бег. Этот неровный ритм вконец измотал его, он брел, задыхаясь и вытирая пот, часто останавливался, но, подгоняемый неясной тревогой, шел дальше.

Даже Крошка Енот, сначала любопытным челноком сновавший по сторонам, теперь притих и все чаще жался к ногам Тайлона. Путешествие совсем перестало ему нравиться, он жалобно скулил, убеждая друга вернуться домой, где им сразу нальют молока.

Сколько они прошли — Тайлон не знал. Видя, что солнце уже перестало цепляться за верхушки елей, мокрый, как мышь, и смертельно уставший, он предложил:

— Ну что, остановимся?

Крошка Енот мгновенно выразил живейшее согласие, показывая, что пройдено более чем достаточно.

— Но ведь мама велела идти как можно быстрее и не задерживаться!

Нет, идти быстрее Крошка Енот решительно не мог. Он демонстративно лег поперек тропинки. Собственно, тропинкой назвать ее можно было лишь с большой натяжкой — так, едва заметный просвет между деревьями, где опавшая хвоя была слегка притоптана. Кем? Тайлон не знал этого и не стремился узнать, потому что мысли приходили такие, что рука сама начинала нащупывать рукоять ножа. Но больше всего хотелось вернуться и бежать...

Крошка же вообще не хотел двигаться. Он

вытянул лапки, закрыл глаза и вывалил язык, показывая, что скорее умрет, чем сделает еще хоть один шаг.

— Маленький лентяй, — упрекнул его Тайлон. — У тебя четыре ноги, а у меня всего лишь две. Это мне надо бы лежать здесь, а не тебе!

Крошка Енот приоткрыл правый глаз, слабо вильнул хвостом.

— Ладно, остановимся. Но если попадем в беду, то лишь из-за твоей лени, симулянт! Ты меня уговорил, давай только отойдем в сторону, не сидеть же прямо посреди дороги.

Крошка Енот моментально оказался на ногах и нырнул под ветви ближайшей ели. Тайлон заколебался — в чаще могли ждать любые неожиданности. Но выбора не было. Он попробовал пройти вслед за приятелем, сразу запутался в колючей плетенке и, поглаживая исколотое лицо, отступил. Пришлось опуститься на четвереньки — продвигаться иначе было просто невозможно. Крошка, однако, не совладал со своей ленью — Тайлон натолкнулся на него у ствола первой же ели. Он сидел, обернув хвост вокруг лап, и выжидаяще облизывался.

— Может, отойдем подальше?

Крошка Енот энергично замотал головой.

— Ты считаешь, достаточно? Нас не заметят?

Да, Крошка считал именно так. И еще он считал, что наступило самое время подкрепиться, а потому выразительно поглядывал на мешок.

— Смотри, второй раз я слушаю тебя. Но если с нами что-нибудь случится — тебе отвечать!

Крошка Енот был согласен взять на себя любую вину — только дайте же ему перекусить. И побыстрее!

Тайлон опустился на толстый ковер сухой хвои рядом с другом, с наслаждением вытянул гудящие ноги и снял мешок. Крошка Енот сразу сунул туда.

— Брысь, обжора! — отогнал его Тайлон. — Ты, наверное, воображаешь, что мы наедемся вволю?

Крошка против этого совершенно не возражал.

— Как бы не так! Неизвестно, сколько нам придется идти, надо экономить продукты.

Мордочка Крошки при этих словах огорченно вытянулась, он даже всхлипнул от жалости к самому себе. Экономить еду! Кошмар! Да как можно придумать такое...

Тайлон развязал мешок, но первое, что попало ему в руки, была та самая плоская шкапулка.

— Давай-ка посмотрим, что там.

Спору нет, Крошка тоже был не против. Особенно если там лежит что-нибудь вкусненькое. А если нет — то сначала лучше бы перекусить, всему свое время. Шкапулка никуда не денется.

— Нет, — решил Тайлон. — Я тебя два раза послушался, теперь твоя очередь.

Нащупав крошечную защелку, он подцепил ее ногтем. Тихо звякнув, крышка откинулась. Внутри лежали две вещи — свернутый лист, который Тайлон принял сначала за бумажный, и тонкая металлическая пластинка со сложными фигурными вырезами. Тайлон осторожно достал лист, опасаясь, что тот рассыплется у него в руках. Развернув его, от неожиданности чуть не вскрикнул.

Лист светился!

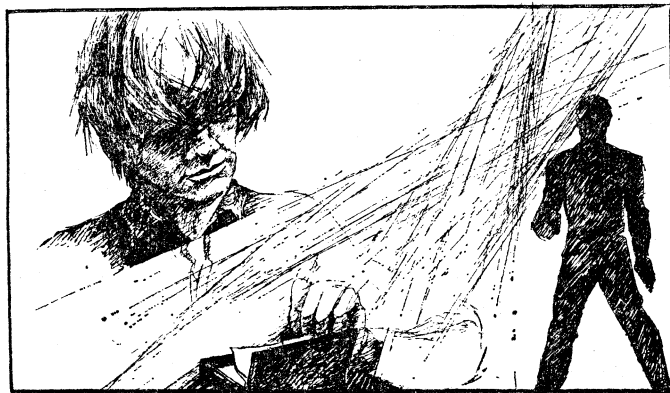
Под елью было достаточно темно, и это бросалось в глаза. На листе яркими красками были нанесены какие-то непонятные зеленые, коричневые, голубые пятна, линии, точки. Тонкие прямые черные линии пересекали лист от края до края, образуя ровную сетку. И краски светились! Не очень ярко, но ровным, насыщенным цветом.

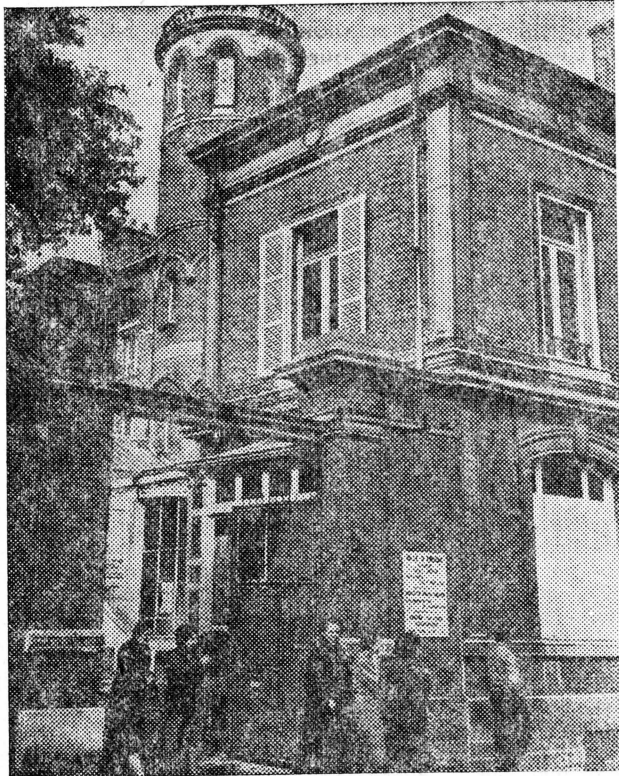
Тайлон с опаской потрогал лист. Он был холодным и гладким, на ощупь не был похож ни на бумагу, ни на холст, ни вообще на что-либо знакомое. Это было... Это был... Он был такой же непонятный и таинственный, как сам Старый Мир, которому этот лист принадлежал.

На Крошку чудеса не произвели ни малейшего впечатления. Он понюхал лист, лизнул его и, разочарованный, отвернулся. Для Крошки Енота все вещи делились на две категории: съедобные и бесполезные. Эта была бесполезная.

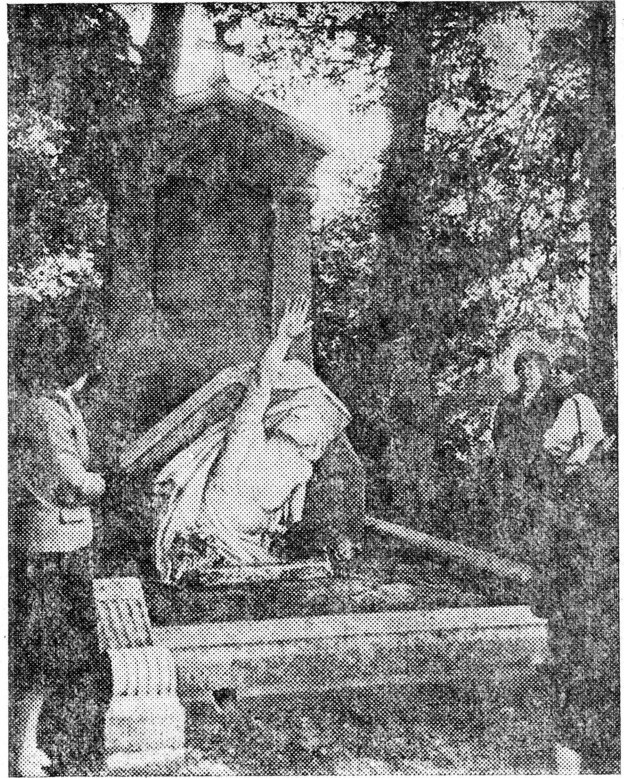
Тайлон пригляделся повнимательней. Что-то ему этот лист все-таки напоминал. Но что? Возникло странное ощущение, будто он продирается сквозь завесу толстой липкой паутины. Она обвивается вокруг ног, цепляется за руки, хватается за одежду, держит, не пускает... Тайлон рвется из последних сил, чувствуя, что нужно напрячься еще чуть-чуть, и преграда лопнет. Но сил уже нет... Перед глазами вдруг все поплыло, голова закружилась, и Тайлон, потеряв сознание, мягко осел на землю.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ





Дом Ж. Верна в Амьене.



Могила Ж. Верна.



В Амьене, у Жюль Верна

Виталий ПАШИН

Фото автора

В составе группы советских журналистов мне довелось побывать во Франции. Маршрут нашего путешествия по стране пролегал через старинный город Амьен, что в ста километрах к северу от Парижа. Многовековая история города (а основан он еще до завоевания Галлии римлянами) богата событиями, сыгравшими заметную роль в судьбах не только Франции, но всей Западной Европы.

Но это все в прошлом. Ныне город является столицей провинции Пикардии, центром текстильной промышленности страны. Для интуристов он интересен своим знаменитым готическим собором тринадцатого века: немного в Европе строений, которые могли бы соперничать с ним по красоте и стати.

И еще одним славен Амьен: здесь жил и творил один из самых читаемых в мире писателей — Жюль Верн. Он приехал сюда из Парижа в 1871 году, сменил несколько квартир и наконец обосновался в доме номер два по улице Шарля Дюбуа, одним боком выходящем на бульвар, носящий ныне имя писателя.

Дом этот с высокой круглой

башней, будто перенесенной сюда из старинного рыцарского замка, ныне превращен не просто в мемориальный музей Жюль Верна, а в международный центр по изучению наследия великого фантаста.

Посещение музея было запланировано программой нашего знакомства с городом только на следующий день. Я не вытерпел и, пожертвовав послеобеденным отдыхом с дороги, отправился на поиски заветного дома. Долго искать не пришлось: музей оказался рядом с гостиницей. В вестибюле меня встретила веселая компания из четырех человек — музейные работники, в отсутствие посетителей коротавшие время за рассматриванием забавных рисунков в свежем номере юмористического журнала.

Мой приход, как мне показалось, весьма обрадовал их. Журнал был тотчас отброшен, все лица повернулись в мою сторону. Такая встреча несколько обескуражила меня: в наших отечественных музеях подобного внимания к незнакомому посетителю-одиночке наблюдать не приходилось. А когда я объяснил, энергично жестикулируя, что

приехал из Советского Союза в их город с единственной целью (да простят мне невинное лукавство эти славные люди!) посетить музей любимого писателя, все двери дома тотчас распахнулись передо мной. Никто не потребовал от меня удостоверений, справок, рекомендаций. Сопровождать гостя из Советского Союза взялся сам директор Морис Кампер.

Знакомство с музеем начали с его верхней точки. По скрипучим деревянным ступеням винтовой лестницы поднялись мы на смотровую площадку башни. Когда-то тем же крутым путем забирался сюда Жюль Верн, «задраивал» люк в полу, усаживался в плетеное кресло и, отрешившись от текущих земных забот и волнений, уходил в свой собственный мир. Здесь с пяти часов утра и до обеда писателю был обеспечен совершенный покой. Только мелодичный бой городских часов да звон колокола Амьенского собора достигали его ушей, все прочие шумы рикошетом отскакивали от каменной стены башни. На случай дождя рядом был большой зонт из парусины, а порывы ветра, ударявшие в оору-

жение, создавали иллюзию легкой морской качки, что, несомненно, стимулировало игру воображения и способствовало творческому процессу.

Зимой писателю приходилось работать в кабинете, являвшемся в то же время и спальней. Память о своем хозяине хранят книжные шкафы, кофейный сервиз, трость... Все остальное завезено сюда в период организации музея, в том числе и дубликаты книг, главным образом справочников, которыми пользовался писатель во время работы.

А в комнате, примыкающей к кабинету, на стеллажах разместились сотни томов произведений Жюль Верна, изданные в разных странах. Книг на русском языке больше всего. Морис Кампер, многозначительно показывая глазами на высокий стеллаж, пожимает мне руку:

— Советико — хорошо!

Конечно, представлены здесь далеко не все наши издания Ж. Верна: ведь по данным Всесоюзной книжной палаты, только с 1917 по 1985 год произведения великого фантаста выпускались отдельными книгами 496 раз на 24 языках народов СССР, общим тиражом 36,6 миллиона экземпляров. А если к этому прибавить дореволюционные издания и журнальные публикации!..

Надо заметить, что в России переводы романов Ж. Верна появились тотчас вслед за французскими публикациями. Примечательно, что рецензия на первый переведенный у нас его роман «Воздушное путешествие через Африку» («Пять недель на воздушном шаре») написал сугубо серьезный автор — сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин, высоко оценивший познавательную сторону и занимательность книги. Превосходные авторизованные переводы первых 14 романов Ж. Верна сделала известная писательница Марко Вовчок (М. Маркович), лично знакомая с автором. Эти отлично изданные книги безусловно способствовали быстрому росту популярности Ж. Верна в России. Его произведениями заинтересовался Л. Толстой и даже проиллюстрировал роман «В 80 дней вокруг света». Эти рисунки, сделанные им для своих детей, я видел в амьенском музее: их подарил научному центру Ж. Верна московский музей Л. Толстого.

Мемориальный дом писателя принадлежит теперь городу и является его гордостью: ведь здесь собраны досье с документами из 32 стран мира. В них вся история, вся хронология технических новинок, появление которых предсказывал великий провидец. Здесь же хранится и наиболее полная библиография всех изданий Ж. Верна и книг о нем самом. Директор показал мне данные международной книжной статистики: по числу переводов про-

изведения писателя занимают третье место в мире, уступая только В. И. Ленину и В. Шекспиру.

Жюль Верн обладал феноменальной работоспособностью. Он часто повторял слова, ставшие крылатыми: «Праздность для меня является пыткой». Писал он по десять часов в день. Да еще, будучи избранным по списку «левых республиканцев» в муниципальный совет Амьена, уделяя уйму времени общественным делам. Предметом его постоянной заботы и внимания были городская театр и цирк. Здание цирка, которое вот уже сто лет украшает одну из площадей города, построено по инициативе Ж. Верна. Он очень любил цирковые представления, считал цирк высшей школой мужества, ловкости, атлетизма. Не случайно во многих его книгах цирковые трюки помогали героям выходить из сложнейших ситуаций.

Став действительным членом Амьенской Академии наук, литературы и искусства, Ж. Верн дважды в неделю присутствовал на ее заседаниях. Еженедельно по несколько часов заседал в мэрии. Свободного времени почти не оставалось, и все-таки писатель не мог отказать себе в музыкальном часе. К дому был пристроен «музыкальный салон», где по вечерам в кругу друзей и родных с упоением музицировал Жюль Верн. Сейчас бывший салон превращен в вестибюль музея, здесь установлен макет «Наутилуса», сделанный руками юных членов Общества друзей Жюль Верна. (Это Общество существует во Франции с 1935 года, главные его отделения находятся в Париже. Нанте — родном городе писателя — и Амьене).

Семейная жизнь Ж. Верна сложилась неудачно. Женившись на вдовствующей матери двух взбалмошных девиц, именно по ее настоянию писатель переехал в Амьен. Его жену Онорину совершенно не интересовало творчество мужа: он был для нее всего-навсего «добытчиком» средств к существованию. В мамашу пошли и дочки. Все гононорары — а это были довольно крупные деньги — уходили на оплату расходов домохозяек и погашение долгов непутевого сына Мишеля. Единственное крупное приобретение, которое сделал писатель для себя, была шхуна.

Впрочем, Жюль Верн не сетовал на судьбу: он был доволен и тем, что жена не таскает его по балам, не требует присутствия на раутах, пикниках и прочих увеселительных мероприятиях, которыми заполняли праздное время знатные люди Амьена. Литературная работа, скрупулезное знакомство с открытиями ученых во всех областях знания да еще недалекие путешествия на шхуне — вот три кита, на которых зиждилось благоденствие Ж. Верна в амьенский

период жизни. Завидную работоспособность писатель сохранил до конца своих дней. Он умер в 1905 году и похоронен на кладбище Мадлен в Амьене.

В поисках могилы писателя я обошел почти весь некрополь. Спросить было не у кого, указателей нет. Вдруг за густыми зарослями жимолости, в окружении алых роз, моим глазам открылось необычное видение. Могучим плечом подняв надгробную плиту, из могилы выбирается человек. Правая рука вытянута к небу, туда же устремлен взор. «К бессмертию и вечной юности», — гласит надпись на белом мраморе памятника.

Минувшие годы подтвердили пророчество девиза. Идеями гуманизма, верой в могущество разума, в прогресс, ведущий не к господству одних народов над другими, а к их братству и сотрудничеству, пронизано все творчество Жюль Верна. Мудрым прорицателем предстает он перед нами, многие его технические идеи уже реализованы. Но это далеко не все, чем заслужил он любовь потомков. Писатель дал нам на примере своих героев уроки мужества, стойкости, жизнелюбия, верности, целеустремленности, человеколюбия... Словами капитана Немо Жюль Верн так сформулировал жизненное кредо: «До последнего вздоха я буду на стороне всех угнетенных, и каждый угнетенный был, есть и будет мне брат».

Одной из главных черт в характере Жюль Верна было чувство юмора. Оно помогало сносить неудобства провинциальной жизни, сглаживать семейные конфликты, разрешать междоусобные споры в муниципалитете. Образцом «серьезной шутки» является его речь, произнесенная 12 декабря 1875 года в мэрии, когда он с трибуны принялся рассказывать... свой сон про идеальный город Амьен, в котором есть все для счастливой жизни всех слоев населения. В редком произведении Ж. Верна нет чудачковатого типа вроде Жака Паганеля, бок о бок с которым и трудиться легко и жить весело. Этот оптимизм герой поэтизировал у своего создателя, нашедшего верный путь «к бессмертию и вечной юности».

...Я благодарен судьбе за то, что не стал дожидаться общего похода нашей группы журналистов в музей Ж. Верна, а сходил один. Дело в том, что когда на следующий день мы подошли к дому писателя, дверь в музей оказалась на замке... Все сотрудники музея утром уехали в Париж для участия во внеочередном заседании Общества друзей Жюль Верна, посвященном подготовке к празднованию 125-летия со дня выхода в свет первого романа великого фантаста. Это событие произошло летом 1863 года...



Ветер северо-южный, от слабого до уверенного...

Александр ЧУМАНОВ

Рисунки Сергея Копылова



8.

Так между разговорами, уколами, поеданием домашних приношений и постоянно одолевающей дремотой подошло время обеда. Время обеда пошло, но куда-то одновременно подевались все люди в белых халатах, исчезли из коридоров вечно спешащие куда-то специалисты, и столовая продолжала оставаться на замке, хотя около нее

Окончание. Начало см. в № 1.

уже толпилось почти все переменное население стационара.

Конечно, хотелось поскорее покончить с обедом, который все-таки ощущался определенным этапом в жизни каждого обитателя стационара, виделась безусловная медицинская польза от ежедневной тарелки горячего супчика, пусть неопределенного содержания и проблематичной калорийности.

Поэтому уклоняющихся от обеда почти не случилось, и очень странным казался этот надежно запертый пищеблок в столь урочный час.

Люди толпились у двери столовой вперемежку, мужчины в байковых пижамах, женщины в халатах той же расцветки, из-под которых чуть не на четверть высовывались застиранные бумажные рубахи. По-видимому, и халаты, и рубахи когда-то были пошиты одного размера, но после первой же стирки сказались неодинаковость усадок двух разных материй.

Впрочем, это мало кого волновало, женщины были в большинстве своем и причесаны-то кое-как, наспех и небрежно, а о косметике и вовсе речи не шло. Да, а какое происхождение имеет слово «косметика»? Мне думается — то же, что и слово «космос». Иначе откуда получаются такие

космические лики при интенсивном пользовании косметикой?.. Люди сердились и волновались перед вызывающе запертой дверью. Тут же находилась и наша троица.

И вдруг в толпе разъяренных людей в больничном обмундировании прошестелело слово «укрепа». Оно прошестелело настолько внезапно, что люди даже и не поняли, кто первым его произнес.

— Укрепу привезли, укрепу им дают! — прозвучало уже более отчетливо и ясно, люди многократно повторили родившуюся меж них фразу и стали потихоньку успокаиваться, настраиваясь на более длительное, чем думалось поначалу, ожидание.

— Вот оно что, укрепу им привезли, укрепу по заказу дают, — повторил для своих сопалатников понимающим голосом Тимофеев, — ну, что ж, им тоже небось хочется укрепы, они небось тоже люди.

Тимофеев служил грузчиком в продмаге и эти всякие дела очень даже отлично понимал. Он был верным рядовым сотворговли, хотя не имел на то ни особого образования, ни родовой традиции.

А между тем ему было тяжелей многих. Афоня стоял на костылях, вернее, висел на них и мог так провисеть неопределенно долго, у дяди Эраста вообще ничего по-настоящему не болело.

Тимофееву же приходилось обретаться в странно скрюченном положении, нежно придерживая рукой то место, через которое врачи совершили дерзкое проникновение в жирную тимофеевскую тибуху. Он стоял так, держа одной рукой за стенку, а другой — за любимое свое место, стоял на одной ноге, оттопырив зад, вторая нога была полусогнута, потому что нагрузка на нее сразу отдавалась нарастающей и пугающей болью в паху.

Интересно, мог Тимофеев, нестарый и вполне довольный собой мужчина, позволить себе такую позу в обществе дам в любом другом месте, ну, скажем, в том же продмаге? Да нипочем! А здесь запросто позволял, еще и поглядывал при этом по сторонам, готовый на всякий случай к чьему-нибудь искреннему сочувствию, к вопросам, которые тоже не задают в иных местах.

— А что же такое «укрепа»? — недовольно спросит меня читатель, раздраженный пространными отступлениями то по одному, то по другому поводу, не отдавая себе отчета в том, что и все это повествование состоит из бесконечных отступлений, на отступлениях держится и ради отступлений затеяно.

Да, черт его знает, укрепа и укрепа! Дефицит какой-то. Кивакинские руководители, заметив довольно давно, что список дефицитных вещей, сопровождающий всю нашу жизнь, вопреки логике не сокращается в асимптотическом стремлении к нулю, а напротив, год от года увеличивается, решили не искать причины плохого явления, поскольку это не их ума дело, а принять зависящие

от них меры. То есть заняться справедливым распределением дефицита, в меру понимания справедливости.

Так родилось в Кивакино интересное понятие «заказ». Заказ, который нельзя заказать когда кому вздумается, который доставляют кивакинцу прямо на рабочее место, внушая ему таким образом повышенную любовь к родному предприятию, городу и начальству.

При этом каждый кивакинец думал, что это только ему так повезло с рабочим местом, а в другом месте, думал кивакинец, фигу с маслом получишь! И не то, чтобы люди не обменивались совсем друг с другом этой несекретной информацией, обменивались, конечно, а все равно думали, что им повезло больше всех.

Очень все-таки мудрая была та затея насчет заказов, можно сказать, стратегическая!

И действительно, так ли уж важно знать, что означает слово «укрепа»? Да совсем не важно, а важно хватать, пока дают, потому что, если ты не схватишь, схватят другие, и будешь потом всю жизнь рвать на себе волосы.

Я так думаю: если кричит человек: «укрепы мне, укрепы дайте!», то он знает, чего хочет.

Впрочем, мне лично кажется, что «укрепа» — это одно из двух: или какой-то зарубежный фрукт, выведенный из нашей отечественной репы, или нечто способствующее укреплению, закреплению чего-то. Во всяком случае, это едят, иначе откуда бы знал про укрепу наш Тимофеев, служитель славного продмага. Хотя он-то нам и не объяснит ничего, верный принципу профессиональной засекреченности, принятому среди жрецов нашего отечественного Меркурия.

В общем, кивакинским медработникам в аккунат во время обеда подвезли по заказам укрепу. Чтобы они тоже прониклись повышенной любовью к своему местному предприятию и не разбежались из него куда глаза глядят.

И толпа больных, осознав это, сразу успокоилась. И разбрелась по палатам, оставив своих представителей по-над дверью для сохранения очереди.

От знакомого нам коллектива остался уполномоченный по очереди в столовую Афанасий, непринужденно висающий на костылях. Дядя Эраст и тихонько охающий Тимофеев вернулись в палату.

— Слушай, дед, ты принеси мне супчика, — попросил Тимофеев, с кряхтением укладывая себя на койку, — а котлету можешь съесть. А то что-то у меня как-то тянет, как-то ноет нехорошо. Лады?

— Лады, внучек, о чем вопрос, — с готовностью откликнулся дядя Эраст, — это — всегда пожалуйста. Должен же кто-то спасти тебя по мере сил от окончательного прирастания к лежанке!

— Слушай, а может, тебе в область попроситься, на консультацию, может, они в тебе какую-нибудь свою железяку оставили, это бывает.

А, Тимофеевич?! — уже совсем иным тоном, искренне озабоченным спросил старик.

— Типун тебе на язык, старый! — отмахнулся тот, упорно веруя во всемогущество и безупречную порядочность кивакинских докторов. Слово он сам — Гиппократ и страшную клятву они давали ему лично. Но еще знал Тимофеев наверняка, что в область надо было проситься раньше, а теперь поздно. Кто же захочет выставлять свой брак на всеобщее осмеяние и осуждение?

В это время из больничного коридора донеслась какая-то негромкая музыка, она приближалась, приближалась, наконец широко распахнулась дверь, и на порог палаты вступил наш старый и почти забытый знакомый Владлен Сергеевич Самосейкин. С маленьким транзисторным приемником через плечо.

— Владлен Сергеевич Самосейкин, — представился он старожилам, — я только что поступил в отделение, меня направили в вашу палату, не возражаете?

— Давай, располагайся, веселей будет! — радушно отозвался дядя Эраст. — Коек свободных много, выбирай, какая по душе.

И Владлен Сергеевич мягко улыбнулся сопалатникам и начал устраиваться у самой двери, ему, как начинающему больному, было пока что все равно, где спать и где жить, он еще не почувствовал себя законной частью новой общности.

Однако Самосейкин сразу отметил про себя, что его фамилия, имя и отчество не произвели на соседей особого впечатления. Во всяком случае по их реакции другого сказать было нельзя. И ведь не могли же они его не знать, забыть навовсе. Не могли. Неужели у них не сохранилось к нему капли уважения? И он видел, что только капля и сохранилась, но не более того. То есть ровно столько, сколько полагается иметь уважения к любому рядовому незнакомцу.

— Вам радио не мешает? — осведомился Владлен Сергеевич у сопалатников.

— Нет-нет! — ответили они дружно. И даже нечто такое в поддержку радио хрюкнул временно безмолвный член переменного больничного коллектива.

И действительно, маленький приемничек вносил некий особый уют и некоторое разнообразие в больничный быт. К нему, в отличие от больничного «телевизора», изображающего нечто неоднозначно смутное, не требовалось идти на поклон черт-те куда, аж в «красный уголок», через всю бывшую казарму кавполка.

В общем, все были рады приемнику, тем более что по нему в это время в аккурат передавали какую-то постановку. Даже, кажется, радиоспектакль. И кто-то очень строго как раз цел: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем».

И естественно, дядя Эраст не мог не отреагировать на песню, мы ведь помним, каким редким специалистом он был.

— Мы уже стали всем, и от перестановки слагаемых, как и предполагает закон арифметики, сумма выросла страшно, по сравнению с 1913 годом, — пробурчал дядя Эраст, угрюмо и весьма неопределенно, против обыкновения.

Пораженный сказанным, Владлен Сергеевич глянул в черные глубокие глаза старика, глянул и сразу отвернулся. И больше в этом направлении старался не смотреть.

Что уж он там такое увидел, никто знать не может. Поскольку каждый в этих глазах усматривал свое, сугубо личное, сугубо специфическое.

Узнали они друг друга, вспомнили какие-то совместные дела? Нет. Это — нет. Дядя Эраст провел свою героическую юность, героическую молодость и героическую зрелость совсем в иных местах и на иных высотах, далеких от провинциального Кивакино. Он, конечно, тоже знал вкус спецпрювианта, запах спецбольницы, но не в том дело. А дело в том, что глаз дяди Эраста был, вне всякого сомнения, таким наметанным, таким наметанным, что просто ужас.

Кончилась мобилизующая песня, и вместе с нею кончился радиоспектакль. Все радиоваги были успешно побеждены. А потом дикторша как ни в чем не бывало зачитала прогноз погоды. По ее словам выходило, что в данный момент в окрестностях Кивакино должен дуть северо-южный ветер от слабого до уверенного и проверенного.

Все автоматически глянули в окно.

За окном было тихо-тихо. Огромный желтый лист, совершая в воздухе колебания большой амплитуды, медленно опускался вниз.

Этот лист был настолько велик, что на нем свободно разместились бы Бельгия, Голландия, Дания и Люксембург, вместе взятые. Впрочем, они и так на нем размещались, недовольные бесконечной качкой из стороны в сторону и все укорачивающимся световым днем. А мы и ведать о том не ведали. Это случается с нами вообще довольно частенько.

Короче, никакого северо-южного ветра в данный момент в окрестностях Кивакино не наблюдалось. Глядя в широкое больничное окно, этого невозможно было не заметить при всем уважении к прогнозам.

Сопалатники приняли радиосообщение к сведению и молча улеглись на койки. Тимофеев попытался было сказать что-нибудь избитое насчет бедных синоптиков, но его никто не поддержал, подбравшийся коллектив, видимо, склонялся к более утонченному юмору и потому молчал.

Тут из коридора донеслись типично обеденные звуки, это были бодрые неразборчивые голоса, шорох и топот ног, хлопанье дверей, шелест вольных байковых одежд о воздух и тела, в них содержащиеся.

Правда, ни звона посуды, ни отчетливых слов

о еде, тем более чавканья не слышалось. Но было абсолютно ясно, что никуда, кроме обеда, люди по коридору так идти не могут.

Это сразу поняли в палате все, кроме вновь прибывшего Самосейкина. Для выработки обостренной больничной интуиции нужно было провести в данном учреждении чуть больше времени. На обед отправились вдвоем, Владлен Сергеевич и дядя Эраст.

— Вас с чем госпитализировали? — мягко поинтересовался старик по дороге.

— Так, колики какие-то в животе второй день донимают. Мне спецбольницу предлагали, да я отказался, — зачем-то соврал Владлен Сергеевич, но соврал, как всегда, очень убедительно, — пока, стало быть, на обследование... М-м-да... А я знаю — рак у меня. Потому и лег в эту казарму. Все равно уж...

Владлен Сергеевич обреченно махнул рукой.
— А вы?

— У меня водянка правого яичка, резать будут, — очень внятно и раздельно произнес дядя Эраст.

Произнес, а сам испытующе-строго заглянул в лицо собеседника. Тот отвел глаза, но и тени усмешки не мелькнуло в них. И это определенно понравилось старику.

Когда они пришли в столовую, у Афанореля как раз подошла очередь. За обедом Владлен Сергеевич и Афанорель познакомились, разговорились, хотя вроде бы и не принято разговаривать во время приема пищи. У интеллигентных людей, по крайней мере.

А на них многие поглядывали с интересом, было ясно, что люди узнают бывшего видного общественного деятеля, что сбивало Владлена Сергеевича с правильного, несуетливого настроения на обед. Поэтому отобедал Владлен Сергеевич торопливо и без удовольствия. Он, конечно, вряд ли испытал бы удовольствие и в том случае, если бы на него совсем не обращали внимания. Еда на такое положительное чувство и не претендовала.

— М-м-да... У нас, в Древней Греции, кормили лучше, — произнес свою дежурную остроумность Афанорель, отодвигая тарелки с едва тронутыми яствами.

— А по мне так ничего, вполне пролетарская пища, — промямлил с набитым ртом дядя Эраст, — в иные времена вы бы и этому радехоньки были.

— Да хватит уж кивать на иные времена, — не поддержал его бывший общественный деятель, у которого с выходом на пенсию на многое уже переменились взгляды, причем радикально. С такими новыми взглядами, учитывая, что времена пошли тоже новые, впору было отзываться его с пенсии обратно, но, во-первых, о перемене взглядов никто из принимающих решения знать не мог, а во-вторых, и это главное, не практикуются у нас столь романтические отзывы с пенсии.

Пока дядя Эраст торопливо заканчивал трапезу, его сопалатники продолжали оставаться на местах, что было очень трогательно наблюдать со стороны. А после все трое не спеша двинулись восвояси. Впереди, держа на вытянутых руках тарелку с похлебкой для Тимофеева, прикрытую бумажкой, шагал маленький сухонький старичок, очень бодрый на вид, дальше скакал на своих костылях короткотелый древний грек, правда, бывший. Замыкал колонну по одному все еще важный, седовласо-породистый общественный деятель, тоже бывший. Он словно прикрывал своей широкой надежной спиной отход более слабых телом и духом товарищей. Так, во всяком случае, казалось со стороны.

Никто ведь не знал, какую страшную болезнь нес в себе крепчайший с виду Владлен Сергеевич Самосейкин. Вернее, не столько нес, сколько мучил сам себя этой страшной болезнью, не боясь, что называется, накаркать и даже, наоборот, надеясь таким способом отпугнуть ее от себя.

А в палате все еще играла музыка, только не та, революционная, а совсем другая, аполитичная и без слов, просто такая невинная музыка в палате играла, которую даже сам великий дядя Эраст, явственно напрягшись на пороге, не смог никак прокомментировать. Наверное, подобные музыкалки и появлялись в природе только в результате длительного естественно-искусственного отбора в борьбе за выживаемость.

Тимофеев заметно обрадовался возвращению своих сопалатников, не супу, конечно, обрадовался, но суп выхлебал моментально и до капельки. Теперь ведь, с прибытием в палату Владлена Сергеевича, вполне можно было наконец организовать внутripалатный чемпионат по любимой тимофеевской настольной игре.

Вы думаете, домино имел в виду Тимофеев, радостно доедая свой супчик? А вот и нет! Он имел в виду «подкидного дурака», игру, категорически запрещенную Минздравом во всех подведомственных учреждениях без исключения, а оттого еще более заманчивую и привлекательную.

Но преждевременной оказалась радость больного Тимофеева, ибо никто из его оживителей не поддержал тимофеевского энтузиазма. Увы, не тот контингент оказался.

И почему это вдруг? Ведь раньше-то Афанорель, к примеру, очень усердно тренировал свое терпение и настойчивость «потолочным» аттракционом, изобретенным именно Тимофеевым, и не считал это развлечение зазорным, недостойным своего древнего и уже тем самым благородного происхождения. Он даже, напротив, щеголял благоприобретенной в нашем времени простотой, заходя в столовую, позволял себе громкую шуточку, перенятую у кого-то, взятую, если можно так выразиться, явно «с чужого плеча».

— Собирайтесь, девки, в кучу, я вам чучу от-

чебучу! — говорил иногда Афоня вместо приветствия и сам же над этим хохотал.

Так что главная его острота, несмотря на известный политический оттенок, в сравнении с этой казалась почти детской.

Да и дядя Эраст всегда был предельно прост, и простота в нем жила еще более органично, чем в прищельце из прошлого.

С чего это они с таким отчетливым презрением отказались от карточной игры?

А с того, думается, что им, вероятно, даже и не вполне осознанно хотелось в присутствии бывшего видного общественного деятеля пребывать на определенном интеллектуальном уровне. С одной стороны, им было решительно наплевать, а с другой — хотелось пребывать на уровне. Вот так. А простоватый Тимофеев этого-то и не понял. А то бы тоже захотел.

Сам же Владлен Сергеевич был совсем не прочь убить ненавистное время, он не отказался бы перекинуться в картишки, а что, вполне невинное занятие для четверых вынужденных бездельников. Но ему пришлось не без некоторой, незаметной для постороннего глаза грусти соответствовать. Что может быть более обременительным в этой жизни? Ладно, что умение никогда не быть самим собой считалось всю жизнь главным профессиональным качеством, а то тяжело б ему было...

Ну, а больше никакого посильного развлечения после обеда не нашлось. И начали они все, не стовариваясь, дремать. Начали дремать, а тут и загрохотало все на свете.

Первым подоспел к окну Афанорель, хотя и на костылях.

— Братцы, а ведь мы, кажется, летим! — хрипло и тихо сказал он, делая помимо желаний круглыми глаза.

Он произнес эти слова очень тихо, в сравнении с доносившимся с улицы грохотом, но соплатники все слышали и тоже прильнули к окну.

9.

Главврач Кивакинской райбольницы Фаддей Абдуразякович Мукрулло был местным уроженцем, то есть коренным кивакинцем. И в этом нет ничего удивительного, большинство населения города было коренным, поскольку Кивакино не входило в число тех мировых центров, где стоило приобретать вид на жительство всеми правдами и неправдами.

Различные приезжие специалисты почти не оседали в Кивакине и его окрестностях, они приезжали и уезжали, а специалисты местного происхождения, не хватавшие никогда звезд с неба, оставались в родных местах и достигали здесь ответственного положения. Наверное, главным об-

разом потому, что им некуда было уехать, их никто не ждал ни в одном из мировых центров.

И так со временем сложилось, что на всех ключевых постах города Кивакино закрепились люди, которых народ помнил еще несмышленими детьми, и, вероятно, это было во всех отношениях правильно, разумно и справедливо. Исключение составлял разве что начальник Кивакинского райотдела внутренних дел товарищ майор Мурзагулов Зуфар, поскольку у них, в милиции, практикуются перемещения перспективных своих слушателей на большие расстояния.

Но и в этом имелось свое преимущество, ведь начальнику милиции, выросшему здесь, было бы, наверное, очень грустно сажать за решетку друзей детства и родственников, в число которых у коренных жителей зачастую попадает население целой деревни.

А других исключений больше не было ни одного.

Очень часто выходцы из Кивакино оседали и в иных местах, чаще всего в областном центре, а считанные единицы и дальше, один, это было широко известно, обретался аж в самой столице. По слухам, он двигал вперед какую-то секретную науку, и этим самородком, почти легендарным, гордилось не только все население Кивакино, но также и окрестностей. А остальными отщепенцами не гордился никто, поскольку жили они в чужих местах обыкновенно. Скромно и тихо жили, а ради скромной и тихой жизни не стоило бросать родные места, этого добра, в смысле скромности и тишины, хватало вполне и на родине.

И если бы все уехавшие разом захворали по-стальгией и вернулись по домам, Кивакино сразу сделалось бы настоящим городом. Во всяком случае, по численности населения. И это повлекло бы за собой серьезные позитивные последствия. Для вновь прибывших пришлось бы создавать дополнительные рабочие места, то есть возводить фабрики и заводы, а также и учреждения. Больницу прежде всего. Пришлось бы строить жилье. И со временем Кивакино сделалось бы настоящим городом не только по численности населения. А так что ж...

А так уже лет десять, а то и больше, население Кивакино совсем не росло, держалось на одном уровне, несмотря на то, что постоянно кто-то приезжал, кто-то уезжал из него в поисках лучшей жизни. И почему исторически установился именно такой уровень, а не какой-нибудь другой, могли бы знать демографы, но ни одного демографа в городе не присутствовало даже временно. А все остальные этим не интересовались. У остальных были дела поважнее.

В том числе и у Фаддея Абдуразяковича Мукрулло, главного врача Кивакинского лечебного центра. Он сидел в своем кабинете за массивным канцелярским столом, перед ним лежала раскрытая на чистой странице «Записная книжка руко-

водящего работника», в руке он держал авторучку, заправленную черными руководящими чернилами.

Ох и нелегко ему в свое время достались эти дефицитные чернила! За них пришлось уступить заведующей магазином «Канцтовары» детскую пуховку в южный санаторий для ее совершенно здорового пацана. Бог с ним, дело прошлое. А в руководящей жизни нельзя не учитывать мелочей, в том числе и цвета чернил.

Конечно, Фаддей Абдуразякович заполучил тогда не один пузырек, а целую упаковку, и вышло, что пожадничал. Чернила оказались скоропортящимся продуктом; они со временем заметно снизили свою черноту, очень часто во время заправки в авторучку стали закачиваться противные черные сопля, которыми невозможно было писать. И Мукрулло раздавал теперь эти злополучные чернила направо и налево, все записи в больнице велись исключительно черными чернилами. Но все равно, дефицитного товара оставалось еще порядочно, поскольку чернильные авторучки уже не пользовались прежней популярностью, популярность давно перехватили удобные, легкие, тонкие и не пачкающие руки шариковые ручки.

В общем, сидел Фаддей Абдуразякович в своем кабинете, он собирался что-то записать для памяти в объемистой записной книжке, да задумался, обнажив перо, но не успев донести его до бумаги. Застыл, словно изображал перед объективом творческую позу для бездонной истории цивилизации.

А задумался главный специалист Кивакинской райбольницы о том о сем, а больше — о себе.

Когда-то давным-давно без блеска закончил Фаддей мединститут, после этого долго подвизался на «скорой» и на «скорой»-то как раз немало всякого повидал, многому научился.

Потом работал хирургом, делал немало операций, даже довольно много операций делал, набивал руку. Не очень сложных, но, бывало — и сложноватых, на пределе технических возможностей убогой провинциальной больницы, а пару раз — и за пределами.

Случалось, его больные умирали во время операции, случалось, не вполне заслуженно умирали, в том смысле, что при мастерском лечении их можно было спасти.

Бывали у Фаддея из-за этого неприятности малых и средних размеров, обычные профессиональные неприятности, совершенно необходимые для данной профессии, не позволяющие слишком быстро очерстветь, не позволяющие слишком обыденно и равнодушно воспринимать чужие муки и смерти.

Молодой хирург учился на ошибках, учился у коллег, когда только представлялась такая возможность, выписывал кучу журналов. Он стремился туда, на вершину знания и умения. И че-

столюбие подстегивало, и желание осчастливливать страждущих, не будем выяснять, что подстегивало сильнее.

Но однажды на некоем неотмеченном рубеже вдруг сделалось скучно нашему Мукрулле. По-видимому, вошел он в соответствующий возраст. Вошел и понял с внезапной отчетливостью, что все его операции — это топтанье на месте, а не путь к беспредельному самосовершенствованию. Потому что уже достигнут потолок для себя и для провинциальной оснащенности, а все предстоящее — лишь бесконечное повторение пройденного.

Его сверстники уже делали чудеса в настоящих клиниках, но если бы они очутились в Кивакинской райбольнице, их возможности были бы даже более скромными, чем у Фаддея.

Впрочем, и в этом у него не могло быть горделивой уверенности, и этим он не мог согреть самолюбивую душу, поскольку его сверстники обрелись не только в более оборудованных для медицинских чудес учреждениях, но и практические свои умения приобрели, учась у истинных мастеров, в отличие от Мукруллы, перенимавшего прогрессивные методы у кого попало, у кого только удавалось подглядеть.

Фаддея ведь очень долго пленяли лавры того безвестного великого хирурга, может быть, самого первого на Земле, истинного основоположника профессии, который проживал в каменном веке, и, не имея нержавеющей инструмента, рентгена, анестезии и многого другого, имеющегося даже и в Кивакинской райбольнице, делал трепанацию черепа, что является научно доказанным фактом.

Лавры этого гениального хирурга волновали, волновали нашего Мукруллу и однажды перестали волновать, он понял, что в наш технологический век не надо к ним стремиться, а стремиться надо к тому, чтобы обстоятельства никогда больше не ставили врачавателя в отчаянное положение основоположника.

И стал потихоньку Фаддей Абдуразякович отходить с переднего края местной хирургии. Нет, он еще некоторое время продолжал помаленьку оперировать, каждое такое событие стал изображать как эпохальное, много стал рассуждать об этом, но, беря в руку скальпель, уже не чувствовал нарастающее отвращение к этим не первой свежести человеческим потрохам, а больше — ничего.

Но вида не подавал, маскировал истинное чувство, изображая на лице искреннюю озабоченность, тревогу, сострадание и, само собой, решительность и уверенность, высшее для данного лечебного учреждения мастерство.

И он пользовался значительной популярностью среди местного населения, которому были недоступны чудесники скальпеля более высокого — областного, республиканского, союзного — масштаба. И некоторые кивакинские деятели, бывало, в простых случаях доверяли Мукрулле свое

номенклатурное тело. И это прибавляло авторитета, точнее, политического капитала обоим.

С течением времени Фаддей Абдуразякович все чаще доверял больных молодым специалистам, ведь надо же было ребятам профессионально расти, покорять местные сияющие вершины мастерства. И незаметно для стороннего наблюдателя он совсем самоустранился от этого кровавого, между прочим, запятия, сохранив за собой славу лучшего кивакинского хирурга без всякого усилия со своей стороны.

Бывали случаи, что местные хулиганы, попав в трудное положение в чужих краях, вопили, холодея от животного ужаса: «Не дамса, не трогайте меня, везите мне нашего кивакинского Мукрулло! Везите Фаддея Абдуразяковича!»

И везли его зашивать распоротые в драке животы, укладывая на место выпущенные на волю кишки, везли, бывало, за сотню-другую километров от Кивакино. Дальше — просто не имело смысла.

Эти вызовы тешили самолюбие Фаддея Абдуразяковича, иначе он бы на них не ездил. А он ездил даже и тогда, когда совсем уж перестал оперировать. Он брал с собой кого-нибудь из новых специалистов, коих всех без исключения полагал своими учениками, и они убывали в ночь спасать человека. Сам Фаддей выступал во время таких выездов в качестве мощнейшего морально-психологического фактора, что тоже нельзя сбрасывать со счетов, вернее, обязательно нужно учитывать как первичное и эффективнейшее лечущее действие. То есть можно считать, что Мукрулло сам, не заметив как, переквалифицировался, а вовсе не забросил практическую медицину. Можно ведь так считать?

А еще он вдруг увлекся административной деятельностью, общественными делами, а эти два занятия, как известно, на определенном уровне смыкаются друг с другом, становятся неотделимыми.

Он вел прием, читал лекции, руководил отделением, а потом и всей райбольницей, всегда держался на людях, любил поговорить с больными, утешить их, ободрить умел, часто не имея понятия о состоянии здоровья ободряемых.

То есть, перестав своими руками ковыряться в человеческих потрохах, Фаддей не стал менее полезным для кивакинцев человеком, он сделался даже более полезным и необходимым для них. Ведь раньше его знали единицы, которым он помог или не помог, вторых было не меньше, чем первых, а теперь его знали все, и всем он, в меру расширившихся возможностей, а они именно расширились, неустанно помогал.

Так, став со временем главврачом Кивакинской райбольницы, Фаддей Абдуразякович уже в принципе не мог вернуться к практической хирургии, а потому он старался максимально влезать во всякую иную полезную деятельность.

А бывшая казарма, всем своим внутренним

видом, всем убранством вселявшая в больных уныние и смертную тоску, в то же время была еще так крепка, что для ее разрушения наверняка потребовалось бы хорошее стенобитное орудие. Так добротнo смотрелись стены здания, что любая приезжавшая сюда комиссия, а комиссий случалось немало, у нас ведь никогда не наблюдалось дефицита комиссий, так вот, любая из них видела, что с Кивакинской райбольницей еще маленько можно повременить. И действительно, всегда находились куда более аварийные объекты.

Комиссии уезжали, а вслед им летели жалобы, коллективные, подписанные сотнями горожан, а также и одиночные стихийные. Жалобы были аргументированными и аналитическими, но случались и просто эмоциональные, а все они в совокупности приводили к неизбежной мысли, что нужно направлять еще одну комиссию.

Немало сил положил в борьбе за новую райбольницу Фаддей Абдуразякович, немало адресованных в верха жалоб он сам же и организовал, поскольку больше, чем кто-либо другой, разбирался в существе вопроса. Он представлялся, сам себе во всяком случае, общественным деятелем нового типа, охотно блокирующимся с общественным мнением, искренне любящим человеческий фактор, не боящимся открыто признавать себя организатором этой общественной кампании за обновление основных фондов местного здравоохранения.

И он действительно был смел, даже в печати выступал со статьями, приятными общественному мнению, хотя, конечно, затрачивая долгие личные часы на эти малосенькие заметульки, он выверял каждое слово, каждый оборот, чтобы не навлечь на себя гнев тех, кто еще не перестроился, но продолжает занимать ключевой пост.

И наверное, правильно проявлял разумную осторожность Мукрулло, ведь если бы он навлек на себя чей-нибудь решающий гнев, то какая бы вышла из этого польза родному городу? Да решительно никакой!

То есть в известном смысле Фаддей Абдуразякович Мукрулло являлся бывшим соратником Владлена Сергеевича Самосейкина, поскольку они когда-то вместе бились за «включение в титул» Кивакинской райбольницы. В «известном смысле» потому, что все-таки Владлена Сергеевича принудительно выключили из борьбы как руководителя старого типа, а следовательно, не могло же быть с ним абсолютно по пути руководителю нового типа Фаддею Абдуразяковичу.

Совсем недавно Фаддею Абдуразяковичу доложили, что с коликами в области живота в хирургическое отделение поступил Самосейкин, что заведованием заподозрил невроз, а сам больной настаивает на злокачественной опухоли. «Ишь ты, «настаивает» еще! — усмехнулся, услышав это слово, главврач, — как будто больному этот диагноз больше по душе».

По заведенной традиции Мукрулло должен был пойти и лично осмотреть бывшего общественного деятеля, ободрить и успокоить его, пусть даже и нет пока никаких анализов. Просто ободрить, и все, это у него мастерски выходило. И именно так он бы поступил, если бы Владлен Сергеевич был рядовым гражданином или не бывшим, а действительным общественным деятелем. Но поскольку он являлся именно бывшим, то главврач решил пока с ним не встречаться.

Конечно, он сознавал, что такая необычная его реакция на сообщение о мнительном больном обязательно вызовет в коллективе всякие нежелательные кривотолки, но еще более нежелательным представлялся ему душевный разговор с бывшим Самосейкиным. Его ведь тоже можно было по-всякому истолковать.

Фаддей Абдуразякович сидел в своем мягком служебном кресле, голова его была заполнена текущими и перспективными мыслями, а авторучку он держал в непосредственной близости от чистой бумаги. Он хотел, по-видимому, отметить на ней нечто, связанное с новым пациентом, да забыл, что именно. Забыл и начал рисовать в записной книжке что-то абстрактное, напоминающее пришельца из глубин космоса, и многократно увеличенную платяную вошь в профиль. Мысли в голове промелькивали какие-то дискретные.

«Молодец, Михаил Жванецкий, не в бровь бьет, а в глаз! — так думалось Мукрулле, смотревшему накануне по телевизору выступление популярной личности, — и некому приструнить-то шелкопера, туды-т его! А еще есть писатель Жуховицкий... И он, наверное, думает: «Навязался на мою голову этот одессит!..» Да-а-а, небось Жуховицкому здорово обидно, что его путают со Жванецким... А ведь все равно путают!.. Нет, что-то надо делать с зубоскалами и очернителями, с этими вытряхивателями пыли, с этими выносителями мусора из избы. Нет, надо, конечно, перестраиваться, но ведь не до такой же степени!»

Вот так дискретно размышлялось Фаддею Абдуразяковичу в его уютном кабинете. Ему вспомнился вдруг вопрос, который задал ему его маленький сынишка-пятиклассник накануне.

— Папа, — поинтересовался юный Мукрулле-нок, и было видно, что этот интерес не праздный, а придуманный, скорее всего, подражающей новаторам учительницей, — а ты работник физического или умственного труда?

— Конечно, умственного, — не колеблясь, ответил отец накануне. И пацан удовлетворенно записал ответ в тетрадку.

Фаддей Абдуразякович ответил и тотчас забыл. И вот на службе вспомнил и глубоко задумался над простейшим на первый взгляд вопросом.

«А действительно, — засомневался он мысленно, — что такое умственный труд в наше время? Им ли я занимаюсь?»

Встали в памяти школьные, а потом и институтские годы. Школьные труды были, вне всякого сомнения, трудами умственными. Одни задачи про бассейн чего стоили. В институте тоже приходилось шурупить иной раз, но реже. Гораздо реже. А потом?

И тут-то Фаддей Абдуразякович сделал ошеломляющее открытие. Он осознал вдруг, что после института ему больше ни разу не пришлось пользоваться тем, что называется человеческим разумом. Памятью, опытом, хитростью — сколько угодно. А разумом — ни разу! Вот какая штука.

«Кто вообще занимается в наше время умственным трудом? — раздумывал Фаддей Абдуразякович, — ученые, инженеры, бухгалтера? Ученые, об этом пишут все газеты, плетут интриги. Инженеры пользуются справочниками, готовыми формулами, даже все интегралы для них уже подсчитаны. Бухгалтеры живут готовыми инструкциями и меряют ими собственный интеллект. Мы, врачи, занимаемся выписыванием заученных рецептов, работаем по разработанным кем-то до мелочей методикам. Какая тут, к черту, умственность!..»

От всех этих мыслей страшно устал Фаддей Абдуразякович, а это означало, что мыслить, в полном понимании этого слова, он еще в силу среднего возраста не совсем разучился, но уже стало это занятие для него почти непосильным.

И он переключил свой мысленный орган на другое, любимое дело, на просчет стандартных вариантов, что очень походило на умственную работу внешне, но было, пожалуй, ее зеркальным антиподом. То есть орган был загружен, пусть и не самой сбалансированной пищей, но достаточной, чтобы не заболеть смертельно. И в этот момент за окном кабинета что-то угрожающе загрохотало.

10.

Потом в газетах напишут, что гигантский смерч, каких никогда не было в этих местах, сформировался за сто километров от Кивакино в результате целой серии невероятнейших и непредусмотренных погодных совпадений, в результате причудливого взаимодействия нескольких циклонов и антициклонов.

Смерч сформировался и двинулся в сторону Кивакино со скоростью по прямой порядка пятидесяти километров в час, постепенно набирая силу. В одном месте он перевернул притулившуюся у обочину легковушку, в другом — вырвал прямо из мирно пасущегося стада годовалого бычка и унес его в неизвестном направлении, так что и потом, спустя много времени, нигде не удалось обнаружить ни самого бычка, ни его останков.

То есть можно было бы, наверное, принять какие-то меры, можно было как-то попытаться встретить приближающееся грозное явление при-



роды, провести хотя бы эвакуацию больных из райбольницы. Но, как не трудно догадаться, ничего предпринято не было. С нашей-то беззаботностью да бояться смерча!

А смерч за два часа набрал полную силу и вплотную приблизился к зданию райбольницы. И тотчас после полной тишины и безветрия все кругом угрожающе загрохотало, сделалось сумрачно от поднявшейся до неба пыли, мусора и множества мелких и средних предметов.

Скорость смерча была уже намного больше пятидесяти километров в час, и двигался он не прямолинейно, а описывал некую непредсказуемую траекторию. Так, например, он двинулся к зданию больницы, словно нарочно обходя избушку «катаверной», гараж для фургончиков неотложки, и можно было подумать, глядя на происходящее со стороны, что разрушительное явление имеет глаза и разум, а не просто слепо крушит все попадающееся на пути. Казалось, сам господь управляет явлением, несмотря на его явное отсутствие где бы то ни было.

Никогда такого ветра не отмечалось в данной местности и наверняка никогда не будет отмечаться в будущем. Смерч только краем зацепил старые деревья в больничном парке, но и то повалил несколько штук и со всех без исключения сорвал листву, которая хоть и пожелтела, но еще должна была держаться на ветвях не один день.

Но самая главная сила стихии обрушилась на

здание бывшей казармы кавалерийского полка. Здание задрожало, послышался страшный треск, небо скрылось вовсе. Смерч, словно в его нижней части был гигантский лазер, аккуратно отделил бывшую казарму от фундамента, какие-то мгновения она так и висела в нескольких сантиметрах от своего основания, а потом стала медленно и строго вертикально подниматься вверх, постепенно приобретая вращательное движение против часовой стрелки.

И сразу, словно его целью была бывшая казарма, двинулся на выход с огороженной территории, повторяя все изгибы дороги, накатанной автомобилями. Нет, все-таки нужно было иметь зрение, чтобы передвигаться с такой дьявольской точностью, не калеча людей и близлежащие строения! Все, поголовно все наблюдатели были убеждены, что смерчем управлял некто безусловно разумный. Ну, если не бог и не черт, если не инопланетяне, так ушлые враги-империалисты — обязательно.

Впрочем, у страха, как известно, глаза велики. Много может померещиться в экстремальных условиях. А поэтому доверие ко всякого рода очевидцам никогда не бывает абсолютным. И зачастую вовсе не очевидцы создают наиболее убедительные и аналитические документы различных явлений, документы, удовлетворяющие самые взаимоисключающие требования. Короче, чтобы стать великим очевидцем, тоже требуется опреде-

ленный дар, а более того — авторитет в кругах.

Смерч покинул территорию Кивакинской районной больницы, ничего не разрушив и не повредив, не считая нескольких старых деревьев. И все очевидцы — шоферы фургончиков, разный вспомогательный персонал, случайные свидетели вздохнули облегченно. Им было радостно ощущать себя живыми и невредимыми, они чувствовали себя счастливыми от того, что сделались очевидцами редчайшего явления природы и ничем за это не заплатились.

11.

— Братцы, а ведь мы, кажется, легим! — изумленно-испуганным шепотом выдохнул Афоня. И все сопалатники кинулись к окну. Только временно немой остался на своем месте. Ему как раз нужно было особенно беречь нарастающую новую кожу на лице и руках. Впрочем, не только беречь, но и потихоньку разрабатывать ее, потому что после ожогов кожа почему-то появляется на два размера меньше прежней. И если ее не растянуть сразу, то так и останешься навеки скрюченным в обожженных местах.

Афоня, дядя Эраст, Тимофеев и Владлен Сергеевич жадно глядели в окно и молчали. И что можно было сказать, когда на их глазах отлетала куда-то вниз родная планета, где-то далеко-далеко маячила белая шиферная крыша «каверной», игрушечные автомобильные фургончики, едва различимые фигурки людей. У наших друзей, конечно, не было альтиметра, а то бы они увидели, как стремительно мелькают на его циферблате четырехзначные числа. Впрочем, зрелище было достаточно впечатляющим и без всякого альтиметра.

Белый солнечный круг, едва проглядывавший сквозь пыль в момент отрыва от фундамента, стал новилсь по мере набора высоты все более ослепительным. Если в начале полета на него можно было запросто смотреть, то после эта возможность исчезла. Панорама открывающихся внизу пространств все расширялась, стали видны ближайшие населенные пункты, не говоря уж о самом Кивакине, круглые стекляшки озер, секретники прудов, другие окрестные красоты. Жаль, что нашим невольным путешественникам было вовсе не до красотей. Они ведь ожидали, что вот-вот, с минуты на минуту, кончится эта противоестественная гармония, стихия проявит свой истинный нрав и если не развалит больницу на бесформенные куски прямо в вышине, то просто хряпнет ее о землю так, что некого будет после этого хоронить. Останется лишь закопать в братскую могилу неопознанные человеческие части.

Однако стихия была спокойна, если, конечно, можно называть стихию спокойной.

— А ведь мы еще и вращательное движение

производим! — заметил примерно через час дядя Эраст.

— Ну, с чего это баня-то пала... — неуверенно возразил ему Тимофеев, неуверенно, поскольку и сам уже замечал определенный поворот окна, а возразил по инерции...

Эти две реплики были первыми словами, произнесенными в палате за столь длительное, наполненное драматизмом время. И только теперь все поняли, что первоначальный грохот, треск и вой давно прекратились, и наступила обычная больничная тишина. Правда, откуда-то снизу, где просматривалось густо-серое облако пыли, еще слегка доносился низкий ровный гул, но он уже был как назойливый звуковой фон и в общем-то не замечался.

— Естественно, — отозвался после паузы Афанорель, совершенно игнорируя реплику Тимофеева как несостоятельную, — мы ведь внутри смерча, погодите, еще так раскрутит, что по стенкам размажемся.

И люди, начавшие потихоньку выходить из оцепенения, снова испуганно замерли. И еще час прошел в полном молчании. Но мгновенная очистительная смерть все не наступала, а потому начинал явственно ощущаться голод, ведь время уже вплотную подходило к полднику.

Вращение, к счастью, не ускорилося, по-видимому, большая инертная масса не позволила раскрутить себя до больших оборотов за короткое время подъема на максимальную высоту, а здесь вращательные потоки сошли на нет, остался только равномерный подпор снизу, и постепенно больница совсем перестала вращаться, остановленная трением о воздух.

Человек, как известно, ко всему привыкает. И как бы удивительно это ни выглядело со стороны, но примерно к тому времени, когда на Земле обычно бывает полдник, когда обычно кончается «мертвый час», люди окончательно вышли из столбняка и больше в него не возвращались. И пускай не обрели они веселого и счастливого расположения духа, это было попросту невозможно, но достаточно того, что они вновь смогли разумно мыслить и ощущать себя пока еще членами мира живых. А живые, как известно, думают о жизни, даже думая о смерти.

Многие больные, причем не только женщины, придя в себя, плакали, закатывали от отчаяния шумные истерики, легко ли ощущать себя ежеминутно на волосок от гибели, фактическим смертником с отсрочкой исполнения приговора на неопределенное время, но и слезы эти, и истерики были уже, что ни говори, проявлениями человека разумного.

А среди наших сопалатников слабонервных не оказалось. Все понимали отчаяние своего положения, но старались держать себя в руках. Владлен Сергеевич уже успел произнести в уме самодельную молитву, все-таки необычный сон ему

крепко запомнился, и был спокоен насчет загробного будущего, если оно состоится. Другие, наверное, нашли какие-то иные утешения, кто знает.

И все вдруг начали смотреть на Самосейкина, вспомнив в трудную минуту о его прошлом ответственном положении. Вот ведь понимали, что здесь, на высоте нескольких тысяч метров, никакой социальный статус не может иметь практического значения, но такова уж сила человеческой инерции, тоже, кстати, одно из проявлений разума.

А Владлен Сергеевич, не зная, что сказать людям, пошел к своей койке, крутнул до конца колесико громкости всеми забытого приемника. Может, чисто автоматически и крутнул, а там как раз передавали чрезвычайное сообщение. Текст сообщения все прослушали стоя. Он был суров и краток:

«Смерч, получивший имя «Маруся Кивакина», сформировавшийся в окрестностях маленького городка Кивакино, стремительно, со скоростью сто пятьдесят километров в час, движется по шестьдесят шестой параллели с востока на запад. Смерчем поднята в воздух Кивакинская райбольница, находившаяся на ремонте и в этой связи пустовавшая. Так что жертв и разрушений, не считая подлежащей сносу больницы, нет.

По данным, полученным с орбитальной станции, больница цела и находится на вершине смерча, движется вместе с ним. Создан специальный Центр управления полетом больницы, а также Штаб по спасению людей, захваченных стихией. Члены Штаба настроены оптимистично и конструктивно». Сообщение завершалось списком лиц, введенных в Штаб, в нем, кроме фамилий различных деятелей, назначенных ради статистики, были фамилии действительно крупнейших специалистов различных областей.

А по окончании чрезвычайного сообщения начался концерт классической музыки. Жаль, что не легкой. Любопытно было бы посмотреть, как прокомментирует еще какие-нибудь песенки дядя Эраст, оказавшийся в такой непривычной обстановке.

Но через пять минут концерт прервался, чтобы повторить чрезвычайное сообщение, так что наши друзья не успели ничего сказать по поводу некоторых искажений и противоречий, содержащихся в тексте. Так и простояли все пять минут с разинутыми от удивления ртами.

А в повторном сообщении уже ни про какой ремонт не было сказано ни слова, а было сказано, что в больнице находится незначительное количество больных и медицинского персонала, а, стало быть, фраза насчет Штаба по спасению звучала уже вполне логично.

Бывают у нас такие вот накладки, особенно в чрезвычайных сообщениях, что вы хотите, публицистика — дело очень творческое.

А еще в повторном сообщении было сказано, что видный общественный деятель города Кивакино товарищ Б. всю вину за непредусмотрительность возложил на своего предшественника Самосейкина, неисправимого волюнтариста, поскольку сам он еще не до конца вошел в курс дела, а выходит, ни в чем серьезном виноват быть не может.

И снова наши друзья, то есть Афанорель, дядя Эраст, Тимофеев и тот, молчаливый, обратили свои взгляды на Владлена Сергеевича.

Владлен Сергеевич ругнулся матом и почувствовал себя намного бодрее, общая моральная подавленность сменилась злостью.

— Во дают! — неожиданно высказался по поводу радиосообщения временно немой. Услышав собственный голос, бедняга так обрадовался, что сел на постели. Скоро выяснилось, что его зовут Веней.

А в больничном коридоре уже слышался людской гул. Наступление всеобщей гибели откладывалось на неопределенное время, и людям хотелось есть, не столько есть, сколько общаться с себе подобными на краю беспросветной вечности.

Наши друзья тоже вышли в коридор, даже и Веня вышел, хотя был он страшен и омерзителен лицом, так что с непривычки можно было не только испугаться, увидев его гноящиеся коросты, но и надолго потерять аппетит.

А в коридоре, оказывается, уже намечалось нечто вроде общего собрания, там уже командовал главный врач больницы Фаддей Абдуразякович Мукрулло. По-видимому, он тоже пережил тяжкий шок и еще не вполне оправился от него. Лицо его было все еще растерянным, и казалось, что он проявляет эту повышенную активность не столько затем, чтобы утешить народ, сколько затем, чтобы утешить себя. Все-таки в неизбежность надвигающейся гибели не верится до самого конца, и это хорошо.

Но ничего бы он, конечно, не смог сделать один, если бы наши люди сами во всяких чрезвычайных обстоятельствах не стремились к единству, не пытались отвлечься и зарядиться моральной энергией на каком-нибудь массовом мероприятии.

А что мог сказать Фаддей Абдуразякович людям кроме того, что они и сами знали, видели в окне? Ничего не мог. В его кабинете стоял лишь неисправный цветной телевизор, все некогда было его отремонтировать, а радио, в сравнении с телевизором прибора устаревшего, не имелось совсем. Если не считать радию для связи с каретами «скорой помощи», возможности которой были строго ограниченными.

Вот Мукрулло и изложил то, что ни для кого не содержало секрета, хотя его выслушали внимательно, а потом предложил собравшимся высказывать свои соображения.

И тут наш Владлен Сергеевич завладел вниманием благодарной аудитории, может быть, по-

следний раз в жизни. Он мог бы, пользуясь монополией на владение информацией из большого мира, вообще захватить инициативу, но он не сделал этого, вовремя остановился, вспомнив, что ему эта запоздалая популярность в любом случае ни к чему. А прямо-таки руки чесались и язык.

Он изложил чрезвычайное сообщение, не упустив ничего, в том числе и того, что относилось к нему лично, решив, что люди сами разберутся, кто повинен в случившемся.

Возможно, Самосейкин ошибался. Возможно, в приступе отчаяния люди поверили бы словам товарища Б. и тогда... Кто знает, на что способен отчаявшийся человек!

Но главными словами в сообщении были все-таки слова про «Штаб по спасению». Весть о том, что создан самый необходимый Штаб, в него вошли лучшие умы прогрессивного человечества (а непрогрессивного — не вошли), внушила нашим невольным путешественникам сплошной оптимизм, который, как известно, бывает тем сильней, чем сильнее опасность.

Очень многие вообще сразу перестали думать о смерти, стали относиться к случившемуся, как к великой удаче, к приключению, которое выпадает раз в тысячу лет одному из тысячи. Хотя никто, понятно, не представлял, как это можно сделать технически, то есть как провести спасательную операцию в столь необычных условиях. Никто не представлял, а потому и думать об этом решительно не хотелось. Ведь какие имена были названы в чрезвычайном сообщении, какие имена!

А Владлен Сергеевич, пересказав услышанный по радио текст, торжественно передал приемник Фаддею Абдуразяковичу, давая понять всем, кого он лично считает тут главным и кого советует слушаться всем. Вот как здорово изменился Самосейкин на краю жизни! Так ведь и события в последнее время случились немалые! Уход на пенсию. Страшный сон. Госпитализация. И наконец, полет на таком небывалом воздушном лайнере. Хоть кто изменится неузнаваемо.

Думается, главврач оценил благородство бывшего общественного деятеля. Недаром, когда стали на этом летучем в буквальном смысле собрании выбирать свой местный штаб по содействию тому, главному спасательному Штабу, Мукрулло высказал настоятельное пожелание, просьбу к избирателям, чтобы они избрали товарища Самосейкина его первым заместителем, «главным мудрецом», как он выразился, «ведущим комиссаром» перелетной райбольницы.

И, конечно, просьба была бы с энтузиазмом выполнена, если бы «главный мудрец» не заявил решительный самоотвод, ссылаясь на преклонный возраст и распатанное здоровье.

В этой атмосфере абсолютной демократии даже самые недоверчивые поверили, что все у них обойдется наилучшим образом. Только дядя Эраст продолжал молча обижаться на судьбу. Он

ведь был вообще ни в чем не виноват, поскольку, в отличие от всех остальных, ничем не болел и попал в больницу исключительно из-за своей дурацкой старческой причуды. Теперь он это сознавал, и было ему очень-очень обидно. Он давал сам себе страшную клятву, что, если удастся уцелеть, никогда, до самой смерти не обращаться больше к докторам. «Бог с ними!» — думал покаянно наш бедный дядя Эраст. Но молча, повторяю, и с достоинством.

Потом собрание решило и другие неотложные вопросы. Никто не мог знать заранее, сколько продлится этот полет, никто не мог быть уверенным в каком бы то ни было снабжении необходимыми вещами извне, поэтому сразу же приняли решение об обобществлении оказавшейся в частных руках провизии, что, конечно, не всех привело в восторг, но у всех до одного нашло понимание, как необходимая мера.

Специальная комиссия сразу же и занялась этим обобществлением, сразу пошла делать досмотр тумбочек и холодильников, конфискацию излишков.

Еще провели строгую ревизию столовской кладовой, установили нормы потребления, оказалось, что при скромных пайках можно будет продержаться недели две. И эти две недели были признаны недостаточным для спасения сроком, потому что если бы их признать недостаточными, то пришлось бы еще ужесточить нормы, а делать это не хотелось.

Еще одна комиссия занялась ревизией кладовки сестры-хозяйки на предмет учета теплых вещей. Высота полета, по некоторым наблюдениям, продолжала нарастать, кроме того, все коммуникации, естественно, не действовали. А на дворе стояла осень, так что предстояло пережить если и не стужу, то просто пониженную температуру воздуха. Хорошо, что байковых одеял, а также халатов и пижам оказалось в наличии довольно много, на каждого участника полета приходилось по три-четыре комплекта.

Само собой, не забыли строго учесть весь имеющийся в наличии кислород в баллонах, спирт в сейфе у Фаддея Абдуразяковича, лекарства, особенно — наркотики.

И третья комиссия, составившаяся из наиболее крепких, а также нравственно и политически зрелых больных занялась наведением и поддержанием на должном уровне общественного порядка. Даже не просто порядка, но дисциплины.

Комиссия назначила командиров в палатах, их заместителей по политчасти.

А еще за наиболее тяжелыми больными закрепили общественных попечителей, за слабыми духом — тоже. Особо тяжелых-то, понятно, в Кивакинской райбольнице не держали, но слабые духом могли появиться в любое время. Причем слабость духа совсем не обязательно должна была сочетаться со слабостью тела.

И наконец, был избран, точнее, выделен из состава штаба оперативный орган для текущего руководства, такой как бы небольшой постоянный президиум из семи человек во главе с самим Фаддеем Абдуразяковичем. Несмотря на самоотвод, пусть и не первым заместителем, а рядовым членом, но был введен в президиум и Самосейкин, введен из чистого уважения, совсем без определенных обязанностей, в качестве советника какого-то, что ли. И это растрогало бывшего общественного деятеля.

Только пусть не думает читатель, что всеми этими демократическими мероприятиями кто-то персонально и единолично руководил, что чья-то невидимая рука направляла их в нужное русло. Нет! Совсем нет! Разве каждый из нас не знаком с пеленок с этим ритуалом, разве не впитал его с молоком матери, разве не способен каждый из нас вполне квалифицированно провести любое мыслимое мероприятие в духе традиций и демократического этикета?!

Таким образом, никто не остался в стороне от нужной общественно полезной жизни. Даже обгорелый до неузнаваемости Веня. Его определили караулить собранные со всех палат домашние продукты. Почему именно его? А потому, во-первых, что его внешность очень хорошо отбивала аппетит. Во-вторых, он сам все еще мог питаться только чем-нибудь жиденьким.

И Веня отнесся к порученному делу с предельной ответственностью, он к тому моменту как раз начал тихонько отковыривать с лица и рук подсыхающие коросты, а потому постоянно выглядел предельно ужасным.

В общем, за всевозможными выборами никто не заметил, что время полдника давно прошло и наступило время ужина, то есть продукты, предназначенные для полдника, сэкономились как бы сами собой, и это радовало.

Отужинали дружно, и больные, и медперсонал, — все сидели за столиками вперемешку, как братья по судьбе, которым нечего чиниться друг перед дружкой. Впрочем, как станешь чиниться, если все кругом при должностях.

Потом так же дружно прослушали вечернее сообщение о дальнейшем перемещении смерча «Маруся Кивакина». Из сообщения узнали, что подлетают к великой русской реке Волге, но самой реки не увидели, потому что уже начало осеннему быстро смеркаться. Высыпали яркие звезды, незамутненные на этой высоте никакой земной грязью и пылью. Весь пылевой столб был ниже, а на уровне необычного воздушного лайнера лишь плавало несколько обрывков газет.

Спать легли рано, выставив часовых у всех входов и выходов. Этого не требовала, может быть, обстановка, но требовала дисциплина, потому никто против стояния на часах не возражал. Даже получился небольшой спор из-за того, что кое-кому здоровье не позволяло нести службу, а

он хотел. Сознательный подобрался в райбольнице контингент.

Спать легли организованно, но мало кто заснул сразу, многие долго ворочались в постелях от избытка впечатлений и от нетренированности психики. Это ведь только космонавты могут безмятежно дрыхнуть в ночь перед стартом, так их же специально подбирают да еще учат не один год.

Наших друзей уплотнили, теперь все койки в палате стали занятыми, нужно ведь было освободить спальные помещения для медперсонала, внезапно оказавшегося на казарменном положении. Друзья уж почти позабыли, что находятся на излечении. Прекратились колики у Владлена Сергеевича, у Тимофеева наметилось явное улучшение состояния, дядя Эраст тем более чувствовал себя прекрасно, но ровно в двадцать три часа вошла в палату, естественно без стука, медсестра Валентина.

— Всем лечь на живот и приготовиться к бою! — провозгласила она обычную фразу.

Удивил всех дядя Эраст, он не собирался на сей раз выпрашивать любимую процедуру.

— А мне не прописано, — сказал он гордо, — так что вот!

— Ошибаетесь, дедушка, на сей раз прописали от чрезмерного волнения, так что вот!

Он до того изумился, что больше не нашел слов для возражения.

— А вот вам-то точно не прописано, зря вы приготовились, — обрадовала Владлена Сергеевича медсестра, — вы у нас пока на обследовании, товарищ член президиума, но вот банка, нужно сделать анализ мочи «по Земницкому», то есть собрать всю вашу мочу за сутки.

— Как всю?! — изумился Самосейкин. — А если не войдет?

— Если не войдет, получите еще одну, вам понятно?

Член президиума только судорожно мигнул в знак полного понимания. Он, несмотря на солидный возраст, был всегда очень крепок, в больницах почти не лежал, а значит, привычки чувствовать себя госпитализированным не имел.

Другому — хоть бы что. А Владлена Сергеевича анализ мочи «по Земницкому» потряс до глубины души. Но Валентина, словно не видя этого потрясения, еще добавила строго перед уходом из палаты, не так строго, как громко:

— И смотрите, товарищ член президиума, если мочи будет мало — придется все повторить сначала!

А в общем, стоило Валентине удалиться, как о ней сразу забыли. Ну, кто сразу, кто — нет, но постепенно забыли, вернее, перестали думать. Не могла же она в самом деле затмить происходящее чудо.

Нужно было экономить свечи, их потушили, едва медсестра вышла из палаты, а без света

довольно быстро гаснет любой разговор, явственнее ощущается собственное сиротство, какая-то грустная автономность и невольно хочется молчать и размышлять о вечном.

Дольше всех горел свет в кабинете Фаддея Абдуразяковича, он распорядился поставить раскладушку прямо на рабочем месте, но она пустовала почти до самого утра. Главврач, он же председатель президиума, он же командир летучего корабля сидел за своим письменным столом всю ночь, писал какие-то свои тезисы на белой бумаге, время от времени прихлебывая из мензурки для бодрости ума и тела.

А когда он, наконец, смежил очи, то яркая мысль вспыхнула в разгоряченном мозгу, и почему только она раньше ни у него, ни у кого другого не вспыхнула, вот что удивительно и странно.

«Надо с утра собрать все до одной простыни, сшить из них парашют, какой получится, и растянуть его наверху в стартовом положении. Если смерч внезапно сойдет на нет — спустимся вниз на парашюте! Нельзя же уповать только на помощь с Земли!»

Фаддею Абдуразяковичу захотелось тотчас вскочить, объявить свой гениальный приказ по всем отсекам, но уже не хватило сил разлепить тяжелые веки. Он провалился в глубокий сон, как в беспамятство, но спал не долго, был на ногах с первыми лучами солнца, как и подобает общественному деятелю, стремительно становящемуся видным.

12.

С утра, сразу после завтрака, все способные держать в руках иголку, а также свободные от иной какой службы занялись шитьем гигантского парашюта. Никто, естественно, не роптал, все понимали, что так надо, что для своего же блага нужно стойко переносить все тяготы.

Иголок было маловато, поэтому трудились по сменам, не жалея сил, и каждый старался прихватить лишние полчаса, час. Разгорелось стихийное трудовое соперничество между пошивщиками, в котором не было проигравших, а выигрывали все.

Конечно, никто понятия не имел, как делаются, тем более — как рассчитываются парашюты, но почти все думали, что дело это нехитрое, что «не боги горшки обжигают».

Парашют получился здорово большой, это был квадрат площадью примерно полгектара, к нему по углам привязали четыре каната толщиной с руку, откуда только взялся такой редкий такелаж в простой райбольнице, одна из гримас планового материального снабжения, так надо понимать. Вторые концы канатов прикрепили на чердаке к трубам какой-то коммуникации, канализации,

если верить доносившемуся из открытых концов труб запаху. Сам купол там же на чердаке сложили кучей возле слухового окна так, чтобы в случае нужды можно было его быстренько выкинуть наружу, где он должен раскрыться.

После этого рассеялись у большинства оказавшихся в беде людей последние сомнения относительно безопасности приключения. Возможно, некоторые и догадывались, что парашют — не такая уж примитивная штукавина, догадывались, что он должен быть в изготовлении посложней какого-нибудь фрака третьей сложности, но вслух никто не решился посягнуть на душевный покой подавляющего большинства. С большинством, как известно, нужно обходиться очень деликатно, ведь мы же знаем, из кого оно, безгрешное, состоит.

Однако парашют шили весь день, и была эта работа довольно монотонной, хорошо, что монотонность скрашивало социалистическое соревнование.

А в этот день произошло еще большое количество и других событий, более или менее важных, но дополняющих друг друга и достойных пусть не подробного описания, но уж простого упоминания — обязательно.

Так, едва рассвело как следует, один из вперёдсмотрящих что-то завопил истошным голосом. И все услышавшие этот вопль кинулись к окнам, а за окнами плавал поднятый все той же подъемной силой какой-то предмет в футляре.

Люди уже привыкли, что страшный смерч, пленниками или гостями которого они стали, почему-то больше не захватывает в свой воздушный вихрь никаких предметов, не считая пыли, случайных птиц, мусора. А если захватывает что-то, то оно даже близко не подлетает к больнице, мельтешит в отдалении и скоро исчезает из вида.

А потому люди удивились плавающему за окнами предмету и захотели им завладеть. Кто-то быстренько соорудил нечто, напоминающее лассо, потом это лассо долго и безуспешно бросали все, кому хотелось испробовать свою сноровку, потом кто-то, достаточно натренировавшись, заарканил все-таки добычу.

И добыча оказалась довольно мощной батарейной радиостанцией, которую установили в кабинете Фаддея Абдуразяковича, сделавшемся теперь еще и радиорубкой. При радиостанции обнаружилась толковая инструкция.

— Ура! — сказал Мукрулло на кратком митинге, посвященном установлению двухсторонней связи с родной планетой, — склоним головы перед мужеством тех, кто отважился приблизиться к смерчу вплотную, чтобы послать нам эту дорогую посылку!

Все послушно сказали «Ура!» и склонили головы перед мужеством, все привычно радовались жизни, поскольку просто не успели отвыкнуть от этого дела. О чем тужить, если, как всегда, есть

кому думать за тебя и принимать исключительно правильные решения! И в то же время сам ты — обязательный член какой-нибудь необременительной комиссии, что само по себе достаточно для твоего непритязательного самолюбия.

На должность радиста Фаддей Абдуразякович определил Афанореля. Он, еще будучи только главврачом, а больше никем, сразу как-то выделил из контингента всех наших друзей, в том числе и пока еще малоразговорчивого Веню. Как-то между ним и нашими друзьями сразу установились особые отношения. Может, потому, что Владлен Сергеевич проживал в этой палате, а может, потому, что, вообще, в ней было много людей неординарной судьбы, людей бывалых, а значит, полезных в любой нештатной ситуации.

Хотя одновременно, надо признать, получив радиостанцию, Фаддей Абдуразякович снова стал сдержанно и настороженно относиться к бывшему общественному деятелю, время эмоций кануло в прошлое, снова стал главенствующим в отношениях трезвый расчет. Но этого изменения на первых порах никто, кроме самого Самосейкина, не заметил, а уж он-то обязан был понимать Мукрулло. Да он и понимал.

И стал бывший древний грек, бывший экономист Афанорель Греков радистом. И не потому, что здорово разобрался в радиотехнике, не мог он в ней разбираться, а потому, что показался Фаддею Абдуразяковичу самым подходящим человеком для составления текстов радиограмм. Ведь эти тексты должны были звучать на весь мир, а стало быть, иметь такое качество, какое еще никогда не требовалось от текстов, составленных главврачом лично.

Конечно, лучше всех на эту должность подошел бы какой-нибудь писатель или хотя бы учитель словесности, но таких специалистов в среде лечившихся не оказалось. Фаддей Абдуразякович нарочно порылся в историях болезней, но более подходящих кандидатур не нашел. Зато изучил контингент, чего на Земле, возможно, не требовалось, а здесь представлялось совершенно необходимым.

В качестве радиста требовался человек, владеющий совсем особым языком, языком дипломатического этикета со всякими там «примите уверения», «честь имею», «глубочайшее и искреннее соболезнование». Хотя последнее, пожалуй, не должно было пригодиться. И Афанорель действительно владел этим языком. Он языками, вообще, интересовался, одно это «Собирайтесь, девки, в кучу, я вам чучу отчебучу!» чего стоило. Но если насчет девок выходило у него пока шероховато и не всегда к месту, то этикет был ему намного родней.

Естественно, он ведь из рабовладельцев происходил, а мы все из кого? Нам ведь до культуры наших дворян-паразитов еще ого-го. Как было ого-го, так и осталось. А что дворяне, что рабо-

владельцы — все эксплуататоры трудового народа, все культурные сволочи.

Ну, а инструкцию-то они стали изучать на пару. Да в ней и не было ничего хитрого. Только не забывай рычажок переключать с приема на передачу да говорить в нужный момент «перехожу на прием», «конец связи», «как слышите?».

Первая отправленная на родную землю радиограмма была такого содержания:

«Полет проходит нормально. Самочувствие нормальное. Все системы, кроме канализации, не работают, но мы и без них обходимся. Питьевой воды в трубах осталось немало. Готовы к выполнению любых заданий. Главврач Кивакинской райбольницы Фаддей Мукрулло. Прием».

Ответ шел через минуту:

«Не впадайте в детство, Мукрулло. Не берите на себя лишнего. Работайте на передачу только в исключительных случаях. Слушайте нас и помалкивайте. Словом, ведите себя, как полагается. Конец связи».

— Хм-м-м, «как полагается!» — буркнул Мукрулло, — а я вам не низший чин, я лейтенант запаса! Нач-чальнички!..

Но в микрофон с обидой в голосе он сказал такие слова, сделав вид, что не понял фразу насчет конца связи:

«Я докладывать не обучен. И вообще, я человек гражданский. У нас все в порядке. Настроенное бодрое. Все живы-здоровы. А вы там какживаете? Все командуете? Что-то мало толку от вашего командования, небось насчет парашюта не додумались ваши спецы. Сами докумекали. Продукты нужны, теплые вещи. Да и вообще, вы там собираетесь что-то реальное предпринимать?»

Собравшиеся, а в радиорубке в этот момент находились, по праву соратников, все наши друзья, кроме Самосейкина, с интересом поглядели на главврача. Он явно к чему-то интересному стремился, явно решил на виду у всего мира пойти ва-банк. Что ж, вероятно, это имело смысл, хотя риск и неопределенность были очень велики. Так ведь и полет был, все-таки зря они там, в ЦУПе, сделали вид, что забыли об этом, полет был не менее рискованным делом.

«Мы понимаем, в вашем положении можно позволить себе и не такое. Помощи не гарантируем, смерч все выплюнул обратно, что ему предлагалось, при этом повредил двух наших сотрудников. Но попытки помочь вам будем продолжать».

Восхищаемся вашим мужеством. Мысленно с вами. Держитесь.

Центр управления полетом, Штаб по спасению, ваши родственники», — так ответила на сей раз Земля.

Скажите, никакого дипломатического этикета в этих радиограммах не ощущается? Верно. Но Мукрулло смотрел в будущее. Он твердо решил

использовать выпавший шанс до конца или погибнуть. А может, и погибнуть.

Приближались между тем священные рубежи нашей Родины.

13.

А на Земле, точнее — в городе Кивакине, в то утро тоже начинались особенные события. Первый кивакинский частник Толя Катаев, которого все считали немножко дурачком и который недавно подтвердил эту блестящую догадку земляков тем, что купил патент на фотоработы, вынес на главную площадь города столик, разложил на нем фотографии и стал ими торговать, что вполне разрешалось ему как возрождаемому из всех сил производителю.

Все знали, что Толик прогорает со своим дурацким патентом, что никому не нужны его услуги, а потому любопытно было взглянуть, чем это он там собрался опарашить и завлечь любимого потребителя.

А оказалось, что он торгует портретами наших выдающихся героев, наших путешественников, то есть портретами Фаддея Абдуразяковича, Владлена Сергеевича, Афанорея, дяди Эраста и некоторыми другими.

Вот ведь дурак-дурак, а умный!

Оказалось, что Толик не терял времени даром, а выпросил у родственников героев фотографии, всю ночь их размножал, а утром вынес товар на площадь. Товар был, как обычно у Толика, низкого качества, зато уникален, единственен в своем роде!

И сразу образовалась очередь. И не столько хватали знакомые лики сами кивакинцы, сколько иногородний люд, какого немало проезжает транзитом через стоящее у тракта Кивакино. А глядя на приезжих, запаслись портретами и земляки героев, до земляков ведь такое понимание всегда доходит в последнюю очередь.

Бойкая торговля пошла у Толика, и родственники героев, наверное, здорово каялись, что по неопытности не заключили с производителем соответствующего договора.

Приезжие люди клеили фотографии героев на стекла автомобилей и разъезжались кто куда, кивакинцы тоже из всех сил поддерживали торговлю, так что Катаев разбогател за один день, оправдал годовой патент и фотоматериалы.

А товарищ Б., видный общественный деятель города Кивакино, смотрел на это дело из окна своего кабинета довольно равнодушно, его голова была занята другим великим в масштабах города. Одним словом, он поздно вато узнал, чем это там торгуют так бойко.

А дальше случилось вот что. Толика, конечно, поскорее убрали с видного места до выяснения законности его успеха. Он кричал: «Не имеете

права в эпоху демократизации и хозрасчета! У меня патент!» А ему отвечали очень спокойно: «Не гонись, раз не имеем права, значит, извинимся и выпустим. Потом. А пока сиди. До выяснения».

Но все-таки дело уже было сделано. И пришлось товарищу Б. выступать по кивакинскому радио, объяснять, что путешественниками, особенно Самосейкиным и Мукрулло, рано еще гордиться, что они сами во многом виноваты, а может, и во всем. И насчет их ошибок и злоупотреблений ведется якобы расследование.

Где и кем ведется, деятель не пояснил, но посоветовал каждому свободному гражданину города крепко подумать над купленными сгоряча фотографиями. Еще и еще раз подумать. Именно так и сказал.

А еще товарищ Б. снисходительно объяснил всяким горлопанам, возмущенным якобы недостаточной гласностью в освещении полета века средствами массовой информации, что, напротив, события, происходящие на борту летучей райбольницы, очень даже подробно отображаются ежемесячной многотиражной газетой «Колымский паромоводитель», выходящей на угро-финском языке.

«Стыдно, — сказал в заключение товарищ Б., — не знать угро-финского языка, стыдно не читать популярного ежемесячника, стыдно не иметь понятия об элементарных вещах».

И очень многие кивакинцы взяли булавки и выкололи Самосейкину и Мукрулле глаза. На фотографиях, понятно. А некоторые на всякий случай выкололи глаза на фотографиях Афанорея и дяди Эраста.

Но ведь многие принципиально не стали никому из героев выкалывать глаза, многие только подальше спрятали опасные карточки. Значит, что-то меняется в этом мире? Я надеюсь, что меняется. Иначе, зачем все?..

Ну, а больше никаких особенных событий не произошло в этот день ни в Кивакине, ни на Земле в целом. Все в основном ждали новостей с неба, ждали, чем кончится эта удивительная эпопея.

14.

Совершенно незаменимым человеком на воздушном судне неожиданно сделался наш Тимофеев, бывший грузчик продмага.

Надо отметить, что от взаимодействия с горным воздухом его рана вдруг мгновенно затянулась, уже на второй день путешествия стал иметь довольно приличный вид обгоревший в погребене Веня. Да все стали чувствовать себя намного лучше, чем чувствовали всю жизнь, вероятно, настоящего воздуха уже совсем не осталось у повержно-

сти Земли. А иначе чем объяснишь столь удивительные вещи, ведь ни пища, ни комфорт не улучшились в райбольнице?

Впрочем, это все материал для научного исследования, а мы лучше вернемся к Тимофееву, который неожиданно сделался одним из самых незаменимых людей в полете.

Он ближе к вечеру второго дня путешествия заглянул в дверь радиорубки, или в дверь командирского кабинета, или можно еще как-нибудь назвать эту дверь, там теперь безвылазно колдовали у рации лишь двое: Фаддей Абдуразякович и Афанорель, остальные заходили все реже.

— Фаддей Абдуразякович, — робко заглянул в дверь Тимофеев, — а мы уже над чужой страной летим...

— Ну-ка, ну-ка, заходи, ты как это узнал? — заинтересовался Мукрулло.

И выяснилось, что Тимофеев с детства этим делом увлечен, все географические карты наизусть помнит, очертания береговых линий и государственных границ, запросто по звездам и радиосигналам вычисляет широту и долготу. Штурман-любитель, одним словом.

— Ну, и какая же под нами сейчас конкретная страна? — спросил Фаддей Абдуразякович, испытующе глядя Тимофееву в глаза.

Тот ответил твердо и уверенно.

— Афоня, передавай! — чуть поколебавшись, скомандовал командир. Вот здесь-то и понадобился талант древнего грека.

Он передавал почти непрерывно. «Ваше превосходительство господин президент! Пролетая над вашей страной...» «Ваше превосходительство синьор премьер-министр! Находясь в воздухе вашей республики...» И само собой: «Уважаемые товарищи!..»

Так начинались все эти радиограммы. И под каждой значилась подпись «Мукрулло». И действительно, Фаддея Абдуразяковича уже знал весь мир, и никакие титулы не требовались.

Да, чтобы не испытывал читатель недоумения, нужно пояснить, что радиостанция имела специальную приставку, способную переводить человеческую речь на язык точек и тире, а также наоборот. И пользоваться ею можно было двояко, в зависимости от важности радиообменов.

ЦУП едва пробился сквозь эту почти непрерывную передачу. Едва Афанорель переключил рычажок на прием, динамик взорвался гневным монологом. Можно себе представить, каким был бы этот монолог, если бы можно было заставить весь остальной мир заткнуть уши.

«Мукрулло, вы что себе позволяете!? Ведь есть же границы! Одумайтесь, если собираетесь возвращаться! Мы понимаем ваше состояние, но кто вас уполномочил на эти приветствия?! Это в конце концов не по правилам, этого нет ни при какой демократии, остановитесь, Мукрулло!..»

А вы, Афанорель, вы что, офонарели!? Вы же всегда были дисциплинированы образцово! Не идите на поводу у вашего сумасшедшего главврача! Восстаньте, сбросьте его иго!..

Восхищаемся вашим мужеством, мысленно с вами, держитесь. ЦУП. Штаб. Родственники».

И тут они покинули пределы радиовидимости. Мукрулло подозрительно глянул на своего верного радиста, не собирается ли тот сбрасывать иго. Тот, похоже, не собирался. Хотя, чужая душа, конечно, потемки, и ни в ком нельзя быть уверенным, как в себе.

А Афанорель, действительно, не хотел никакой борьбы, он был убежден, что в любом случае останется ни при чем, если, конечно, вся эта фантазмагория, начинающая, честно говоря, надоедать, завершится благополучно.

Но не хватало времени на размышления, Тимофеев все объявлял и объявлял проплывающие внизу страны и надо было передавать очередные приветствия. Что интересно, на них иногда отвечали. Но надо признать честно, отвечали на радиограммы Мукрулле немногие.

На что рассчитывал Мукрулло? А наверное, на то, что его, ставшего теперь таким знаменитым, ставшего фактически видным общественным деятелем самостоятельно и при помощи слепой стихии, никто уже не посмеет лишить завоеванного положения.

Так прошло без сна чуть не двое суток. И все трое повалялись спать, не раздеваясь, когда внизу широко раскинулся необозримый даже с такой высоты океан.

Они отоспались как следует, а океан все продолжался и продолжался. Время от времени на почтительном расстоянии показывались какие-то самолеты, они то приближались, то удалялись, но было видно, что это происходит по какому-то строго определенному графику. И было ясно, что это не случайные самолеты, а назначенные сопровождать и смерч, и вполне опознанный летающий объект на его вершине.

Из подслушанных радиопереговоров Афанорелю удалось понять, что летчики с большим подозрением относятся к этому воздушному судну русских, к этой летающей казарме кавалерийского полка, что им очень хочется шарахнуть по ней ракетой и поглядеть, что из этого выйдет. И было очень страшно, поскольку почему-то казалось, что у них не может быть такой железной дисциплины, как у нас.

Афанорель переводил подслушанное Фаддею Абдуразяковичу, а тот лишь мрачнел лицом, но вслух ничего не говорил. Он вдруг все чаще стал делаться таким вот мрачным, даже со своими ближайшими помощниками перестал разговаривать, перешел исключительно на приказной тон, словно был прирожденным солдафоном, а не лейтенантом запаса.

Мукрулло совсем перестал общаться с больничными массами, а если общался с ними, то лишь на языке письменных приказов, которые по нескольку раз на дню приходилось вывешивать на бывшей «доске объявлений» все тому же Афанорелю.

Главврач явно превращался в диктатора, то ли он собирался до конца своих дней болтаться в воздухе, то ли не надеялся на мягкую посадку. Во всяком случае, было похоже, что он хочет успеть реализовать все свои наклонности. И дурные, и умные.

И о чем это они так долго и так секретно совещались с дядей Эрастом, который стал его последним ближайшим приближенным, но уже ближе всех предыдущих, вместе взятых? И отчего это дядя Эраст после совещания с Мукруллою стал так пристально поглядывать на Владлена Сергеевича?

Скажем сразу, что эти вопросы так и остались без ответов. Видимо, несмотря на стремительность всяких перемен и событий, не достало времени на то, чтобы ответить на все вопросы. Полет ведь не мог продолжаться бесконечно. Он же проходил не в безвоздушном пространстве...

15.

Над Атлантикой летели, ощущая некоторое беспокойство. Вдруг появились признаки того, что смерч идет на убыль, райбольница стала помаленьку терять высоту, это не было заметно невооруженным глазом, но любознательный Тимофеев и тут оказался молодцом, он утверждал, что, пользуясь настенным анероидом, с незапамятных времен висающим в приемном покое, а также сводками погоды, которые постоянно передаются наземными радиостанциями, может запросто определять высоту полета с точностью до десятка метров.

И скоро представилась возможность проверить его утверждение. Афанорель не самовольно, конечно, а по указанию Мукруллы взял да и установил прямую радиосвязь с одним из иностранных самолетов. Подобрал частоту, что ли. И запросил у него сведения о высоте.

— О'кей! — откликнулся чужой летчик. — Лады, сейчас сообщу, только свяжусь с базой, попрошу разрешения!

«Ну-у, это они за сутки не решат!» — разочарованно подумали путешественники.

А им было очень важно знать насчет высоты, это же был для них вопрос жизни и смерти. Тимофеева они, конечно, уважали за его нужные всем познания, верили ему, но он и сам был рад возможности проверить свои расчеты, сам, выходит, допускал возможность ошибки.

А летчик, вопреки ожиданию, быстренько согласовал вопрос с базой и уже через час сообщил

нужное сведение. И даже пообещал периодически информировать об изменениях высоты. Видимо, такой приказ ему дали с базы, рассудив, что знание путешественниками, а точнее, невольными разрушителями воздушного пространства высоты своего полета само по себе не содержит угрозы национальной безопасности.

Это была радостная договоренность, Фаддей Абдуразякович стал даже менее мрачным и строгим благодаря ей. Конечно, перспектива грохнуться в океан, над которым не спасет никакой, даже самый совершенный парашют, не могла ни его, ни кого другого радовать, но договоренность с иностранной державой об обмене информацией была архиважна прежде всего в политическом плане. Что там греха таить, в какой-то момент Фаддею Абдуразяковичу показалось, что положено начало чему-то великому, каким-то даже, может быть, отношениям...

Но никаких отношений не получилось. Да и не могло получиться. Ведь и сам Мукрулло, с одной стороны, неосознанно стремясь к каким-то особым отношениям, с другой стороны, — также неосознанно боялся их, ужасался даже. Вот если бы под его началом была не больница, а хотя бы какой-нибудь клочочек земной поверхности, вот тогда, кто знает, может, он и решился бы объявить этот клочочек независимой республикой. А так что ж — летаешь, летаешь верхом на бывшей казарме кавалерийского полка, да где-то сядешь?..

Ну, а рядовой народ больницы летел над Атлантикой все-таки с замиранием сердца. Страшно-вато все-таки было. Конечно, дежурные по парашюту отбирались из числа самых надежных граждан, конечно, можно было надеяться, что в нужный момент они не оплошают, выбросят кукол в слуховое окно как надо. Конечно, по сигналу СОС все ближайшие судна ринутся на помощь терпящим бедствие.

Но все понимали, что цельнокирпичная больница затонет в считанные мгновения, несмотря на духоту, держали окна и двери плотно запакованными, некоторые ни днем, ни ночью не расставались с подручными плавсредствами. Кое-кто повсюду таскал за собой гладильную доску, кое-кто — добытую неведомыми путями кислородную подушку, а кое-кто — самый обыкновенный стул, за неимением чего-нибудь более подходящего.

Плавсредств для всех не хватало, а потому, начавшись с единичных случаев, стала махровым цветом расцветать спекуляция всякими предметами, имеющими плотность меньшую, чем плотность воды. Нависла серьезная угроза над деревянными частями здания.

Кто доложил о безобразиях председателю президиума — неизвестно. Возможно, он и сам заметил, отвлекшись на мгновение от внешнеполитических своих забот. Но как бы там ни было, в

критический момент на бывшей «доске объявлений» появился очередной приказ. И вовремя появилась, потому что эта доска как раз тоже собиралась превратиться в плавсредство. И такой приказ был составлен без помощи Афанореля, специалиста по языкам, а также дипломатическому диалекту. Его навыки требовались исключительно для внешних сношений, а для внутренних они Фаддею Абдуразяковичу, похоже, казались даже вредными, расхолаживающими, настаивающими на необоснованно благодушный лад.

Приказ подействовал, но не очень. Люди, видимо, еще просто не успели научиться со всей серьезностью принимать своего руководителя. Времени у них для этого, повторяю, было мало. А у него было мало времени, чтобы научить их. То есть, до самого конца полета так и не дошло дело до выбрасывания за борт, в смысле за окно, живых людей. Все-таки полет был не таким уж продолжительным, как может показаться, все-таки — сто пятьдесят километров в час.

А потом океан кончился, полетели над Северной Америкой, враз сошел на нет ажиотаж вокруг плавсредств, не из-за приказа, а по объективной причине.

Появилась новая опасность — опасность приземления в самой гуще империалистов. Для кого-то это, может быть, приятная и желанная перспектива, но никак не для кивакинцев. Ведь известно, что патриотизм нарастает по мере удаления в глубь страны, а Кивакино располагалось в самой сердцевине нашей необъятной Родины.

И хотя люди за эти дни пересекли немало всяких границ, что неизбежно должно было отразиться на их патриархальности, можно сказать, наши люди стали за эти дни бывальными землепроходцами, но все равно хороший кивакинский дух сидел в них крепко-крепко.

Радости-то было, когда узнали, что над Новым Светом высота полета перестала уменьшаться. То ли и в этом заключались характерные происки империалистов, то ли повлияли изменения погоды.

А между тем количество вьющихся вокруг самолетов увеличилось, это уже походило на какой-то почетный эскорт и порождало в сердцах кивакинцев законную гордость. Впрочем, большинству из них уже надоело гордиться, большинству вообще все надоело и теперь просто хотелось домой. Нет, не подумайте, что эти люди были какими-то особо серыми и ничем не интересующимися. Это не так, люди были нормально серыми. И если бы они плыли на корабле, мчались на поезде или автобусе, имея что наблюдать, но, главное, имея абсолютную уверенность в возвращении домой живыми и в срок, они бы до самого финиша радовались приключениям. А так-то ведь, несмотря на

внушающие оптимизм факторы, абсолютной уверенности все равно не было...

Скажите, ее никогда не бывает? Может, оно так, но как-то все же...

Летчики аккуратно сообщали о высоте, Тимофеев проверял их информацию, данные совпадали в точности. Высота полета снова стабилизировалась. Так без особых событий и происшествий наши путешественники миновали Новый Свет.

Потом опять бушевал внизу океан, опять соленый воздух врывается сквозь плотно запертые окна и двери, опять слонялись по коридорам люди с гладильными и другими досками под мышкой. Ушла последняя приветственная радиogramма, отпала нужда в знании специфического диалекта и языков, и Афанорель с облегчением покинул радиорубку навсегда. Он вернулся в свою палату, и Владлен Сергеевич встретил его, как родного. Он даже не смог удержать слез, растрогался и расчувствовался, как самый последний пьянецкий старикашка.

Остальные находились на различной службе.

— Мукрулло отрекся от тебя, — сказал Владлен Сергеевич, утерев слезы, — отречется и от остальных, как только отпадет в них надобность. Вот попомнишь мои слова!

Афанорель был вполне согласен с Самосейкиным, но он не мог по-настоящему ненавидеть главврача, понимая, что доля диктатора сладка и приятна лишь с виду.

Афанорель поведал Самосейкину о гневных посланиях из Центра управления полетом, о том, что на Земле не только Мукрулло, но и его, Владлена Сергеевича обвиняют в воишущем, почти преступном самовольстве.

— Что ж, я это предполагал, — вздохнул бывший деятель, — бывшим всегда достаются все шишки. Да шут с ним, моя пенсия всегда при мне.

16.

Снова они мчались над родным отечеством, которое было отродно велико. Снова глядели и глядели вниз, но уже без расчета рассмотреть чужие военные тайны, а с расчетом разглядеть там до слез любимые окрестности. Сердца бились взволнованно, все больше падало почтение к Фаддею Абдуразяковичу и всяким комиссиям, надоевшим не только председателю президиума, но и самим себе. Домой хотелось страшно, страшно нарастала гордость за все отечественное.

Сверху отчетливо просматривалось, что наши национальные богатства еще довольно велики, несмотря на не совсем правильное отношение к ним в предыдущую эпоху застоя, предшествовавшую Великой Перестройке. Сверху было видно, что леса еще вырублены не полностью, что реки и озера блестят в лучах небесных тел, как живые,

что там и сям горят факелы попутного газа. Это, конечно, является пережитком прошлого, но таким пережитком, который доказывает, что существует еще в родных недрах драгоценное «черное золото».

Райбольница сделала полный оборот вокруг Земли где-то за неделю. По мере приближения к месту приписки, то есть прописки, людям все сильнее казалось, что приходит конец их удивительному и захватывающему путешествию. И не просто казалось, нет, они были абсолютно уверены в этом. И даже не хотели задумываться над происхождением, в сущности, ни на чем не основанной уверенности.

Путешественники считали, что с честью выдержали испытание, выпавшее на их долю, а значит, стихия не должна иметь к ним никаких претензий.

И потому, когда больница благополучно проплыла над своим законным, но пустующим фундаментом, путешественники впали в черную меланхолию. Их так утомила жестко нормированная пища, жестко нормированное поведение и, самое главное, жестко нормированное общество и пространство, что прямо не знаю.

— На второй виток пошли, на второй виток пошли! — затухающе прошелестело по коридорам, палатам и кабинетам. Прошелестело да и стихло.

Как в тумане, прошла еще ночь. И утро началось, как в тумане, хотя видимость была, выражаясь языком связанных с небом специалистов, «миллион на миллион». И похоже, назревал бунт на корабле, похоже, кое-кто не отказался бы от захвата общественного спирта ради утоления личного отчаяния, во всяком случае о чем-то таком намекал дядя Эраст, уже переставший быть верным приспешником режима.

И бунт бы наверняка случился не сегодня-завтра, если бы вдруг с утра не завонил кто-то истощенным голосом:

— А-а-а! Мы падаем, мамочка, мы падаем!

В один миг смерч «Маруся Кивакина» как сквозь землю провалился. Только что был и враз исчез. Пылевой столб несколько мгновений неподвижно поторчал посреди мира, а потом стал опадать, осыпаться вертикально вниз. И опережая пыль, полетел с жутким воем вниз грязно-белый больничный параллелепипед.

Он летел строго вертикально, не покачиваясь и не планируя ничуть, летел как и подобает массивному компактному предмету. Но это падение длилось лишь несколько мгновений. А после над крышей показалось нечто бесформенное, будто отломился кусок стены, но то была не стена, а так называемый парашют. Невероятно, но он, не ведая о своих вопиющих несовершенствах, надулся встречным воздухом, разгладился и стал все ощутимее тормозить падение. Мгновения всеобщей невесомости прошли.

— Товарищи! — прогремел по коридорам зычный голос Фаддея Абдуразяковича. — Прекратите панику! Все идет нормально! Приготовиться к мягкой посадке!

И люди моментально вспомнили, кто здесь их главный благодетель. И они снова глядели на него преданными глазами, полными слез радости. Это были последние звездные миги Мукруллы. Хорошо, что они были так светлы, эти миги.

Удар о Землю получился вполне сносным. Больничные стены не дали ни одной трещины. Все же умели строить в давние эпохи, пока еще не началась борьба за качество строительных работ. Все-таки умели, хотя это тогда и не требовалось.

Приземление состоялось, и неопределенного цвета купол бессильно свалился вниз. Он укрыл спустившийся с неба снаряд, а также близлежащие окрестности. При внимательном рассмотрении было видно, что гигантский квадрат спит из бесчисленного множества одинаковых прямоугольных лоскутов, каждый из которых был помечен двумя некрасивыми черными буквами: «ХО» или «ТО». Посторонние, конечно, не могли знать, что означают эти загадочные литеры.

А внутри здания сделалось сумрачно. И тогда ставший уже подлинным красавцем Веня открыл окно, взял ножницы и вырезал в куполе парашюта большую дырку. Надо же было сориентироваться на местности, взять азимут и тому подобное. Ведь даже и Тимофеев не знал, где они находятся, так как уже успел разлюбить нудное штурманское дело.

Наши друзья высунули головы в дырку и увидели прямо перед собой огромное, уходящее в небо здание. На здании висела табличка, а на табличке были буквы. Буквы составляли слова. Такие вот: «Минздрав СССР».

17.

И все-таки их встретили, как героев. Собралась огромная толпа народу, которая истоптала весь купол. Радостные беспорядки едва удалось держать под контролем. Кивакинская райбольница парализовала дорожное движение, транспорт с большим трудом разогнали по соседним улицам и дорогам.

Но в общем всем было очень радостно. И путешественникам, и тем, кто их встретил. Потом иностранные газеты злословили по этому поводу: «Главное — сохранить хорошую мину». И поясняли, что мина — это не мина, а выражение лица.

Ну, что ж, иностранные газеты для того и существуют, чтобы злословить в наш адрес.

Конечно, нельзя было оставлять райбольницу на месте приземления, уж очень она всем мешала. Путешественники думали, что вот сейчас их славный корабль разломают на куски, погрузят



в самосвалы и вывезут на свалку. И они уже приготовились взгрустнуть по этому поводу, даже всплакнуть, если получится. Дядя Эраст, собственно говоря, уже тер вовсю глаза.

Но оказалось, что техника ушла гораздо дальше, чем могло представляться провинциалам. Понаехали краны, тягачи, трейлеры. Под здание подвели мощные домкраты, подняли его, поставили на многоколесную платформу. Потом путешественников разогнали по палатам и кабинетам. И диковинный автопоезд тронулся, покати́лся с глаз долой.

Потом об этом рейсе писали и говорили немало. Сколько было укреплено мостов и дорог, сколько специальных переправ построено на пути следования. Чем в свободное от работы время увлекаются водители.

Теперь путешественники могли не торопясь разглядывать родные просторы и петь при этом песню: «Широка страна моя родная». Кто пел, того очень хорошо кормили. Куда лучше, чем во время полета. И пели все, даже дядя Эраст.

18.

Так что стоит Кивакинская райбольница на прежнем месте. Все участники событий живы-здоровы. У Владлена Сергеевича больше никаких

колик не бывает, по-прежнему здоров дядя Эраст, хотя все чаще подводит его память. У Афанорея нога стала прямой, но все равно не такая, как раньше, до первой поломки. Хорошо себя чувствуют и остальные.

Красавец Веня и медсестра Валентина стали вести совместное хозяйство, Мукрулле все его выходки простили, для этого ему лишь пришлось публично покаяться. И даже должность ему сохранили, учли, что все равно от хирургии он уже слишком далеко откололся.

Товарищ Б. по-прежнему ходит в видных общественных деятелях города Кивакино и окрестностей.

Но самое главное: уже «включена в титул» новая Кивакинская райбольница. И все знают, что это кровная заслуга товарища Б.



РУССКИЙ СЕВЕР

Александр МАТВЕЕВ

БЕЛОЕ МОРЕ. Невелико Белое море, если сравнить с соседями — Баренцовым и Карским морями, но, как говорят, мал золотник, да дорог. Именно по Белому морю и его притокам — Северной Двине, Мезени, Онеге — еще в давние времена пытались проникнуть иноземцы в глубь богатой российской земли. Одни уповали на меч, другие — на мощну. Скандинавских викингов сменили английские и голландские торговые корабли, потом стали наведываться и шведские военные суда, пока Петр I не отучил их. А для русских Белое море стало первым по времени «окном в Европу». Круглым и тяжелым был этот путь, но другого в XVI — XVII веках не было.

Для лингвиста название Белое море никакой тайны не представляет, да и любой русский сразу сообразит, что в основе здесь прилагательное *белый*. Таких «цветовых» названий на карте немало: есть море Черное, есть Красное и Желтое. Но почему именно это море стало Белым — вот в чем вопрос.

Голландский художник Корнелий де Бруин, который в самом начале XVIII века посетил Россию и встречался с Петром I, пишет в своих записках «Путешествие через Московию», что вода Белого моря «оказалась более светлой, чем вода Океана, которая зеленовата...» Это — констатация факта. А вот и его объяснение, которое находим в «Кратком топонимическом словаре» В. А. Никонова: «Белым море названо, вероятно, «за белесоватый цвет воды, отражающей северное небо». Впрочем, здесь же говорится о том, что *белое* могло означать «северное» в системе цветовых обозначений стран света.

А вот что пишет Козьма Молчанов в своем «Описании Архангельской губернии» 1813 года: «Белое море, может быть, названо первыми его посетителями, увидевшими все его берега убеленными снегом».

Добавить остается немного: название это чисто русское, потому что у соседних народов, карелов, в ходу другое — *Визнан мэри* — «Двинское море».

А теперь — информация к размышлению: гидроним «Балтийское море» обычно связывают с литовским словом *балтас* — «белый». Значит, и Балтийское море — «Белое море», хотя повод для наименования может быть другим: в Балтийском море льды образуются только в заливах и у берегов. Но загадка в том, что есть не только два «Белых моря», но и две Двины — Западная, впадающая в Балтийское море, и Северная, текущая в Белое. Как здесь не вспомнить литовское слово *двинаи* — «близнецы!»

ВАШКА. Низовья Вашки — самого большого притока Мезени — в Архангельской области, верховья — в Коми АССР. Живут в деревнях по берегам этой реки русские и коми. Но в глубокой древности здесь обитало другое население: и русские, и коми — пришельцы. Вот и в истории названия «Вашка» отразилась сложная история этих мест.

Форма Вашка появилась недавно: в старинных документах, например, в царской грамоте 1471 года, фигурирует *Важка*. Букву *ж* писали в этом слове еще писатели XIX века В. Н. Латкин и С. В. Максимов. Но как *Важка* стала *Вашкой*? Это «сработало» глухое начало русского суффикса *ка*, который часто встречается в названиях рек: Бобровка, Каменка, Северка. Присоединяется он и к нерусским по происхождению гидронимам: Игремка, Кернежка,

Муромка. Значит, первоначально река называлась просто *Важ*, а затем уже появились формы *Важка* и *Вашка*.

Слово *важ* в одном из вымерших финно-угорских языков восточной части Двинской земли означало «приток». Названия с этим географическим термином довольно много: *Кестваж*, *Ратваж*, *Соваж*, *Ухваж* и другие. Видимо, русские, осваивая эти места, узнали и о большой реке *Важ* в бассейне Мезени. Следовательно, *Важ* надо переводить просто «Приток».

Пока еще не установлено, к какой группе финно-угров относились создатели двинских названий на *важ*. Есть похожие гидронимы в коми языке, где *вож* — «приток»: *Войвож*, *Косвож*, *Лунвож*. Есть они и в марийском языке, но только уже с окончанием *важ*: *Кожваж*, *Тодымваж*, *Шактемваж*.

Коми живут по *Вашке*, и казалось бы, в их языке прежде всего надо искать источник русского гидронима. Подумаешь, разница — *важ* или *вож*? Но языковедение — наука точная: против версии о происхождении названия *Вашка* из языка коми есть два серьезных аргумента.

Во-первых, русские в низовьях *Вашки* заимствовали из коми много названий маленьких речек — *Байводжа*, *Войвожа*, *Егырвожа*, *Косвожа* и другие, то есть географический термин *вож* они переделали в *вожа*. Почему же тогда *Важка* переходит в *Вашка*, а не *Вожка* — в *Вошка*? Как получилось, что один и тот же термин в названии большой реки — *важ*, а в именах рек поменьше — *вож*? Нелогично.

Во-вторых, сами коми называют *Вашку* не *Вож* и не *Важ*, а *Ву*, то есть коми говорят одно, а русские заимствуют у них совсем другое. Опять нелогично.

Поэтому правильное считать, что и коми восприняли название реки *Важ* от какого-то более древнего населения, при этом произошли обычные для истории языка коми звуковые изменения — отпадение конечного согласного и сужение гласного: *Важ* перешло в *Ву* точно так же, как древняя форма *йоке* в конце концов превратилась в коми *ю* — «река».

На эту и так достаточно запутанную историю можно взглянуть и по-другому, если вспомнить, что автор «Описания Архангельской губернии» (1802 год) архангельский губернатор Антон Пошман несколько раз именуется *Важку*, то есть *Вашку* — *Вагой*. Ежели почтенный губернатор чего-нибудь не напутал, то приведенные им факты исключительно важны, потому что значительнейший левый приток Северной Двины — *Вага* сплошь и рядом и в наши дни именуется *Важкой*.

Если форму *Важка* очень легко получить из *Вага* — есть же в русском языке слова *бумага* и *бумажка*, может быть, два трудных для объяснения гидронима — *Вага* и *Вашка* — варианты одного древнего слова. Эта версия заводит, однако, в такие дебри словообразования, что возможные варианты придется рассчитывать едва ли не на компьютере.

КАДНИКОВ. В гербе этого небольшого города — кадка, наполненная смолой. Как утверждают, процветало здесь когда-то смолокурение. Уездным городом *Кадников* стал в 1780 году, а сперва было село *Кадниково*. И в один голос утверждают все знатоки края, что название села и города образовано от слова *кадка*, а точнее — *кадник*,

то есть «тот, кто делает кадки, бочки», иными словами «бочар» или «бондарь».

Только на самом деле все обстоит не так просто, потому что в документе 1492 года говорится не о деревне или селе Кадниково, а Кадниковской пустоши. То ли была здесь в старину деревня, запустела, то ли перестали в этом месте хлеб сеять — теперь не узнать. А вот форма топонима подсказывает: образовали его не от нарицательного *кадник*, а от прозвища — Кадник. Так что все рассуждения о смолокурении, изготовлении кадок и деревянной посуды могут оказаться попросту притянутыми к названию: ведь трудно назвать такой провинциальный город, да и вообще более или менее крупный населенный пункт лесной полосы, в котором раньше не делали бы кадок и деревянной посуды и не занимались бы смолокурением. А уж на герб кадка попала определенно после осмысления названия. Это испытанный прием российской геральдики: так, в герб уральского города Осы поместили пчелу, хотя название Оса явно заимствовано из какого-то древнего вымершего языка.

КОРЯЖМА. Городом стала Коряжма совсем недавно — в 1985 году. А история ее началась очень давно.

В 1535 году присмотрел монах Лонгин удобное местечко на левом берегу Вычегды в устье реки Коряжемки и основал здесь монастырь; который стал называться Коряжемским. А близ монастыря, как это обычно бывает, возникли деревни: Коряжма, Малая Слободка, Большая Слободка, Копытово. После Великой Отечественной войны разрушилось в этих местах строительство крупнейшего целлюлозно-бумажного комбината, и вот теперь Коряжма — самый молодой город Архангельской области.

Хоть и продолжителен был путь от монастыря до города Коряжмы, но не очень богат событиями. А вот у названия дорога не только длинная, но и весьма извилистая. На первый взгляд, это название — не из русских. Напоминает оно чем-то такие имена северных рек, как Колежма или Унежма. Но во всех этих чудских названиях *е*, а не *я*. И еще важно, что ударение в слове Коряжма на втором слоге, а в чудских названиях оно — за редчайшими исключениями — на первом. Значит, это слово может быть и русским, точнее, старорусским.

Образовано оно скорее всего от весьма прозаического слова *коряга*. Но вот как из хорошо известной каждому русскому человеку *коряги* получилось загадочное Коряжма, сообразить совсем не просто. Конечно, можно допустить, что тут не обошлось без влияния со стороны какого-нибудь чудского слова вроде Колежма. И все-таки вероятнее другой путь или лучше сказать пути.

Находится Коряжма неподалеку от Сольвычегодска, а здесь русские обосновались еще раньше — в XV веке. Вот и назвали первопроходцы одну из соседних речушек Коряжная или Коряжка. Монастырю дали имя по речке — это естественно. Но для названия монастыря нужно прилагательное. А как его найти? От Коряжная — только Коряженский, от Коряжка — Коряжский. Из Коряженский очень легко получится Коряжемский, а форма Коряжский столь неблагозвучна и трудна для произношения из-за стечения согласных, что сама «просит» переделать ее в Коряжемский.

Не верится? А напрасно. От топонима Уфа образуется прилагательное *уфимский*, а не *уфский*, первоначально, кстати, *уфинский*. А от слова Шиши («конусовидная острая вершина») — название Шишимские горы, а не Шишские.

Теперь о названии речки Коряжемка. Оно вторично. Сперва гидроним Коряжная или Коряжка породил название монастыря, а затем более употребительное и престижное наименование монастыря повлияло на название речки: из Коряжемский (монастырь) была извлечена Коряжемка.

КРАСНОБОРСК. На левом берегу Северной Двины против устья Уфтыги раскинулось большое село Красноборск, центр Красноборского района Архангельской области. Если село, то почему Красноборск, а не Красноборское? Ведь суффикс *ск* обычен для названий городов и

поселков, а не сел. Потому и говорят: город Архангельск, но село Архангельское. С какой стати Красноборск нарушает порядок?

Ответ — в истории села. В начале XVII века уже стояла на берегу Двины слобода Красный Бор или Красноборская. Славилась она солеварнями и кустарными промыслами. С течением времени слобода стала селом, а в 1780 году — уездным городом Красноборском. Только недолго жили красноборцы в уездном центре. Уже с 1796 года стал Красноборск заштатным городом. Но это мимолетное возвышение Красноборска отразилось в названии: топоним стал оканчиваться на суффикс *ск*. После революции Красноборск был преобразован в село.

А почему Красный Бор? Может быть, росли в этих местах какие-то необычные деревья? Нет, все гораздо проще. Слово *красный* в старину имело значение «красивый». Значит, Красный Бор — «красивый бор».

А еще гордится Красноборск тем, что здесь жил замечательный художник-пейзажист Александр Алексеевич Борисов (1866—1934).

НОВАЯ ЗЕМЛЯ. Если взглянуть на мелкомасштабную карту Арктики, то Новая Земля кажется островом. На деле это — архипелаг. Приглядишься — и увидишь, что узкий пролив — Маточкин Шар — разделяет Новую Землю на два больших острова — Северный и Южный. Между Баренцевым и Карским морями на 925 километров протянулись эти суровые острова, покрытые тундрой, горами и ледниками. А у берегов Новой Земли на карте видны еще и мелкие островки.

На страницах различных справочников можно вычитать, что открыли Новую Землю новгородцы в XI или XII веке, но что-то в это не очень верится: в те времена новгородцы только начали осваивать Заволочье и, пожалуй, им еще были не под силу, да и ни к чему экспедиции на далекие пустынные острова среди Ледовитого океана.

Но и с утверждением зарубежных авторов о том, что Новую Землю открыла английская экспедиция 1553 года, которую возглавлял капитан Уиллоуби, тоже нельзя согласиться. Дело в том, что во всех иностранных источниках и на старинных картах этот архипелаг называется только Новой Землей. Поэтому известный русский мореплаватель адмирал Ф. П. Литке имел полное право написать: «Первыми открывателями этой земли были, без сомнения, россияне, обитатели Двинской области. Настоящее ее название, которого никто и никогда у ней не оспаривал, достаточно то доказывает».

Само название Новая Земля по своему значению настолько ясно, что не требует никаких объяснений. Сложнее вопрос о том, когда оно возникло. Как это ни странно, ответ находим на... берегах Средиземного моря.

Итальянский писатель Мауро Урбино, живший в начале XVII века, на основании каких-то неизвестных нам источников утверждал, что «россияне... плавающие по Северному морю, открыли около 107 лет назад остров, до того неизвестный... он... показывается на картах под именем Новая Земля». Значит в начале XVI или в конце XV века русские бесспорно были на Новой Земле и дали ей название. Впрочем, познакомиться с Новой Землей поморы-мореходы могли и раньше, хотя доказательств этого пока нет.

Ненцы называют архипелаг Едэй Я, что в переводе тоже означает Новая Земля. Скорее всего это калька русского топонима. Крупнейший специалист по ненецкому языку Н. М. Терещенко пишет, что Новая Земля стала «осваиваться ненцами сравнительно недавно. По воспоминаниям стариков, первые ненецкие переселенцы обосновались на этом острове лишь около 150 лет назад, перешавшись с острова Вайгач».

НЮХЧА. Странно и совсем не по-славянски звучит это название. Оно и на самом деле заимствовано из какого-то древнего чудского языка, хотя местные русские старожилы с ним давно и хорошо освоились.

Чудь — понятие собирательное: жили в Подвине разные финно-угорские племена и говорили они на различных чудских языках и диалектах. Вот и топоним Нюхча — тоже

чудской. А нельзя ли его происхождение установить точнее?

Названий с древней основой *нюхч* довольно много. Есть две реки Нюхча — притоки Пинеги и Онежской губы, есть еще река Нюхчева, тоже в бассейне Пинеги, несколько Нюхчозер, Нюхчамох и другие названия. Когда основа топонима встречается часто, она обозначает что-то важное для местного населения. Заглянули ученые в словари и вот что оказалось.

Живет на Кольском полуострове, а также в Финляндии, Швеции и Норвегии удивительный оленеводческий народ — саамы. Говорят они на финно-угорском языке, но и язык этот очень своеобразен, да и саамы по внешности мало походят на соседних финно-угров — финнов и карелов. Вот и считаются саамы древним «арктическим» народом, который перешел некогда на финскую речь. А жили саамы когда-то и южнее — в Карелии и в Двинской земле.

Именно в саамском языке мы и находим слово *нюхч* — «лебедь». Эта птица священна у самых разных народов. Иногда ее даже считали родоначальником — тотемом племени. Если же мифологические и религиозные представления забывались, то сохранялось восхищение, которое по справедливости вызывает лебедь. Не случайно и в русских народных сказках эта птица — важный персонаж. Значит, если в каком-нибудь водоеме жили лебеди, это могло отразиться в названии. Потому на картах так много Лебяжьих озер и так часто встречается основа *нюхч* в топонимии.

Если нанести топонимы с основой *нюхч* на карту, то все они окажутся в северной части Архангельской области. Именно здесь и жили северодвинские саамы, от языка которых остались только географические названия да несколько заимствований в местных русских говорах. А юго-западнее, у Белого озера обитали белозерские саамы. В их наречии слово «лебедь» звучало не *нюхч*, а *нюкш* или *нюкша*. Поэтому мы и находим здесь топонимы Нюкшозеро и Нюкшаручей.

ПИНЕГА. Одна из самых значительных рек Архангельской области, левый приток Северной Двины — Пинега стала известна русским очень давно. Она упомянута уже в уставной грамоте новгородского князя Святослава Олеговича. А это — XII век, точнее — 1136—1137 года.

В глухих пинежских лесах долго еще держалась чужд, кое-где, может быть, до XVI—XVII веков, но постепенно чудское население смешалось с новгородскими переселенцами и полностью обрусело. А название Пинега осталось.

Известный лингвист Макс Фасмер предположил было, что Пинега — «Собачья река». И негословно: есть же в финском языке *пэни*, *пэника*, в саамском — *пэннэ*, в марийском — *пий*, *пинеге* — «собака», «щенок». Да и в топонимии многих народов «собачьих» названий сколько угодно, особенно у тюрков: собака, как и волк, у них весьма уважаемое животное. Собака может стать и родоначальником — тотемом племени. И все-таки вряд ли Пинега — «Собачья река»: обычно «собачьи» названия относятся к небольшим объектам, а Пинега более 700 километров длиной.

Намного вероятнее другое объяснение, которое было предложено еще в XIX веке такими известными финно-угроведами, как Кастрен и Шёгрэн: Пинега — «Малая река».

В бассейне Двины много названий на *ега*: Маега, Чуплега, Шужега... И в каждом из них *ега* — финно-угорское слово со значением «река» (карельское *йоги*, саамское *йоук*). Название реки Пинега относится к этой же группе гидронимов: в карельском языке есть слово *пизни* — «малый», в языке вепсов оно звучит — *пэнь*. Пинега и в самом деле «Малая река», если сравнить ее с Двиной. Правда, река называется Пинега, а не Пенега, но дело в том, что в старинных документах как раз обычно писалось Пенега.

С Пинеги русские попадали волоком на Кулой, а отсюда — на Мезень. В начале волока, как водится, возникло поселение: очень важным было это место и в военном, и в торговом отношении. В двинской грамоте 1471 года

уже упоминается Волоко-Пинежская волость. В конце XVIII века селение Волок Пинежский по царскому указу стали именовать уездным городом Пинег, наверное, потому, что слово *город* — мужского рода. Но с развитием мореходства в Белом и Баренцевом морях пинежский волок утратил свое значение и запустел. Город стал селом, а старое название не выдержало конкуренции с наименованием большой реки. Сейчас это рабочий поселок Пинега. Правда, местные жители еще нет-нет да и скажут по старинке не «в Пинеге», а «в Пинегу».

ПУСТОЗЕРСК. В 1499 году московские воеводы князь Семен Курбский и Петр Ушатый да Василий Бражник Иванов сын Гаврилов шли с войском покорять Югорскую землю. Долог и труден был путь по обширному Печорскому краю. Устало войско. Надо было становиться на отдых. А воеводы думали еще и о «крепком» царском наказе...

Московитам для их походов за Урал нужен был надежный тыл, крепость-острог, где можно было подготовиться к походу. Нужен был и административный центр для надзора за громадным краем, чтобы не могли иноземные купцы попадать на Печору и торговать у самояди и югры «мягкую рухлядь». И хотя по царскому указу с инородцами надо было жить в мире и «неправд им никаких не чинить», такой форпост мог служить в случае надобности и для устрашения немирной самояди. А еще нужен был этот острог «для почиву Московского государства торговых людей, которые ходят из Московского государства в Сибирь торговать», как говорится в одном старинном документе.

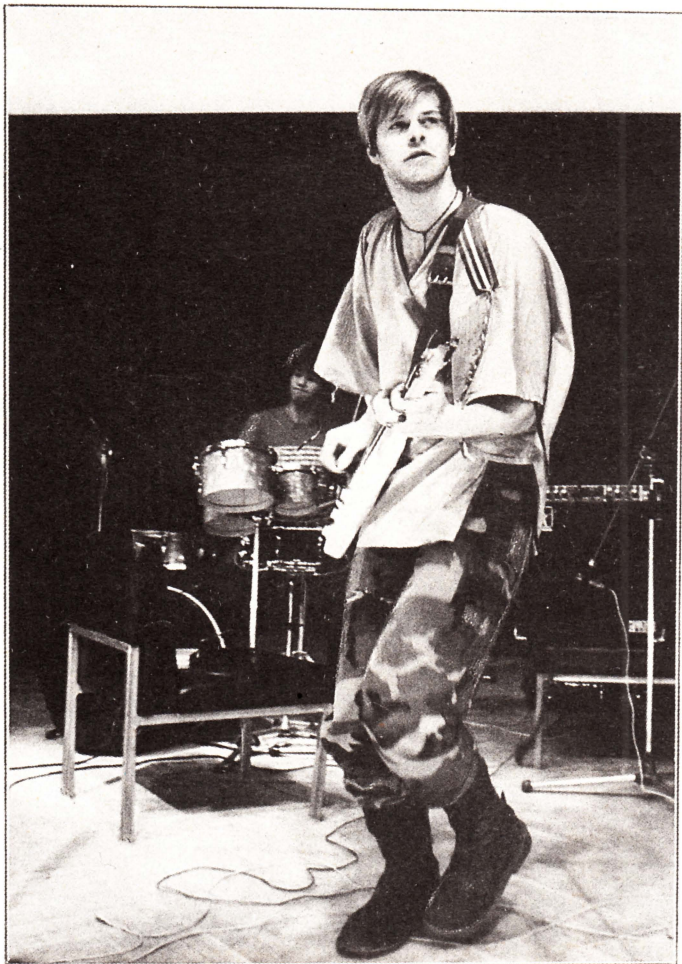
И вот на правобережье Печоры, километрах в 20 от современного Нарьян-Мара, среди голой тундры, кое-где покрытой чахлым кустарником, воеводы поставили острог. Место было удобное: озеро Пустое с трех сторон надежно прикрывало подступы к городку, расположенному на полуострове, а протока соединяла озеро с Печорой. Правда, настоящей осаде и штурму за все время своего существования Пустозерск так и не подвергался.

Пустозерский острог в документах XVI—XVII веков именовался просто Пустозеро или Пустозеро по названию озера Пустое. Рыбы в озере было много, так что само озеро как раз не было пустыем. Таким оно считалось потому, что до прихода русских не было здесь населения, было озеро «свободным», «никому не принадлежавшим». Немного по-другому объясняет это название известный знаток Севера писатель С. В. Максимов: нет на озере «ничего, кроме бугров да моху, да кое-где несчастного мелкого кустарника; кругом лежит мертвая тундряная степь».

Позднее закрепилось за поселением название Пустозерский Городок или Пустозерск. Но жители самого Пустозерска и окрестных деревень называли его просто Городком, потому что других городков поблизости не было. Это второе имя Пустозерска осталось жить в названии озера Городецкое, которое со временем стало употребляться вместо Пустое.

В 1780 году Пустозерск потерял статус административного центра — уездного города, фактически же свое значение он утратил еще раньше, оставаясь только надежным местом для ссылки. Именно сюда был сослан один из приближенных царя Алексея Михайловича боярин Артамон Матвеев, здесь сидел в земляной яме и был сожжен замечательный русский публицист XVII века протопол Авакум. Город стал селом Пустозерским или Городецкой слободой и постепенно захирел, хотя местное ненецкое население еще в начале XX века уважительно называло это селцо Арка Харад — «Большой город». Между тем уже в середине XIX столетия в Пустозерске было всего домов двадцать и чуть более ста жителей. Но постепенно и они разъехались. Сейчас этого города уже нет.

Мухин размышляет о сверстниках

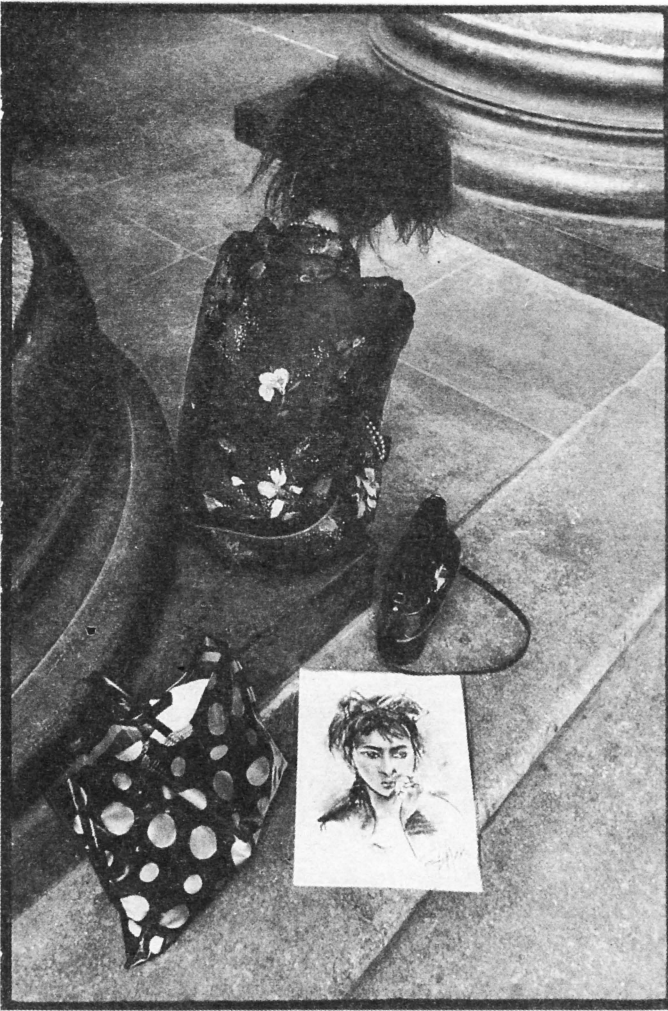


Москва. Концерт в Доме Художника.

«БРАВО, МУХА!» —
ЭТИ ВОСКЛИЦАНИЯ
ОСТАЛИСЬ
В КНИГЕ ОТЗЫВОВ
ПОСЛЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ФОТОВЫСТАВКИ
ИГОРЯ МУХИНА
В СВЕРДЛОВСКЕ
ВО ВРЕМЯ РОК-ФЕСТИВАЛЯ
«МЕТАЛЛОПЛАСТИКА».
ВПРОЧЕМ,
БЫЛО И БУРНОЕ
НЕПРИЯТИЕ —
СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО,
ЧТО МУХИНСКИЙ
ФОТОПОРТРЕТ
МОЛОДЕЖИ 80-Х
НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЕТ
РАВНОДУШНЫМ.
ИГОРЬ МУХИН
РОДИЛСЯ В 1961 ГОДУ
В МОСКВЕ.
ОКОНЧИЛ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ,
РАБОТАЛ В УПРАВЛЕНИИ
«МОСПРОЕКТ».
УЧАСТНИК
ФОТОВЫСТАВОК

В СТОЛИЦЕ,
ВО ЛЬВОВЕ,
С ЕГО РАБОТАМИ
ЗНАКОМЫ
В ШВЕЦИИ,
ФИНЛЯНДИИ.





Андрей АРТАМОНОВ

Словно мелочь по рукам

Кривая проституции нахально лезет вверх,
Неся угрозу нашему здоровью.
И общая беспомощность способна вызвать смех
У тех, кто превратил любовь в торговлю.

И наследницы гетер, видя комплекс полумер,
Заведя секундомеры, словно счетчики такси,
Как голодные пантеры, на панель выходят смело
И гуляют, как хотят, по Руси...

А в кильватере идут моряки,
Отстающих в этой области стран...
Что творится на Руси, мужики?!
Как унять разбушевавшихся дам?

Как стереть с ресниц французскую тушь,
Чтобы было неприятно им впредь,
Принимая освежающий душ,
В холод зеркала чужого смотреть?!

Словно мелочь по рукам, по аллеям ходят дамы,
В брэйке западных реклам рты, как колотые раны,
А грядущие мужья ждут единственных, любимых.
Мужики, вы ждете зря, мимо вас проходят, мимо!

Мимо ваших славных дел, не измеренных деньгами,
Мимо тех, кто поседел в двадцать пять в Афганистане,
Вдоль по улицам идут, за любовь беря по сотне.
Внучки тех, кто на снегу босиком стоял в исподнем!



Тамара ЛОМАКИНА

«СЪЕМНАЯ» ДЕВОЧКА

Что поделаешь — люблю...

Из пяти десятков мужчин, значащихся в сексуальном каталоге двадцатидвухлетней студентки одного из самых уважаемых вузов Свердловска, пожалуй, лишь литовец Владас тронул в душе ее струну, звучащую маршем Мендельсона.

— Он был крутой мужик. На морду страшен, как привидение, но... Интеллект, ум, хитрость, в первой пятерке сильнейших автогонщиков Литвы, бабок — как у дурака фантиков. Известный катал (картежник), но сейчас завязал, ушел в бункер. Очень сильная личность. Естественно, отдыхал, ну да это не суть: почти все мои мужики сидели. Я его полюбила, хотела замуж, не глядя, что его сын — мой ровесник. Но через месяц он слинял, видно, мохнул, что старше: в перспективе-то — нуль, импотент... Да и женат уж трижды.

Мargarита (Рута — плод презрения к немодному имени с детства) глубоко затянулась бесцелной за время нашего разговора «опалиной», хлебнула зеленого чая.

— Я сняла его по дороге в санаторий. Мама с папой послали — набраться сил перед учебой. Каникулы — самое волночное время. Зимой — спячка. В Свердловске стараюсь засвечиваться как можно меньше. Обычно мы с девчонками снимаем мужиков в частных машинах, в ресторанах. Я долго крепилась, не шла на деловых, только по восторгам подруг знала о ящиках коньяка и шампанского, видиках, банях, блатхатах, «Волгах». Видела, что эти девчонки не моются шампунем «Ивушка» или мылом «Балет», не мажут губы расплавленным кирпичом или не пудрятся им же растолченным, не носят искусственных шуб и сапог. И мне захотелось попробовать крутых, денежных, тех, кто ходит по Свердловску в скафандрах: одеты неброско, чтобы их не вычислили. Подпольные миллионеры. Пьют и фестивалют на дачах... И я хочу жить так всю жизнь.

Правда, было — стопорнул один случай. Фестивалили мы на знаменитой классной блатхате в центре. Ленке, моей подруге, предложили заработать. Она согласилась, хотя ни в чем не нуждалась. Мама — большой человек в торговле, папа — военный и тоже с денежной звездой. И сама она не какая-то, в СИНХе училась. Напили доглуха одного «лоха», он утром просыпается, а рядом — Ленка в жутком виде. Мужики к нему: давай три штуки, а то загремишь по статье за изнасилование. Тот пообещал, а сам к мамочке, домой, в ножки упал. Мать навела на хату ментов, они всех повязали. Ленке и мужику, что ей сделку предложил, припаяли за вымогательство. Из СИНХа ее выперли — позор, страшное дело. Она ведь так же, как и я, — член КПСС. (Все так — сама видела партбилет. — Т. Л.) Сейчас даже близко с крутыми не общается, в кабаки редко ходит. А мне тогда бог помог — ушла до налета. Пока везет мне — тьфу-тьфу. Правда, и теперь забегаю на явки: накатить (значит выпить), видик посмотреть, поболтать. Но с оглядкой. Они меня по-хорошему терпят, знают — не слам, не продам. Ложусь, только когда захочу, если мужик понравится. Не захочу — трогать не будут. Они все что угодно могут достать — шубу, шапку, косметику, билет на самолет, бюллетень. Тут недавно иду, смотрю — на дверях магазина фотография — ну, менты клеят: «Разыскивается человек». А это Серега. Написано: пошел ставить машину в гараж и не вернулся. Вчера узнала — убили его, за бабки. Страшно мне стало, веришь?

— Слушай, — говорю я Margarите, — давай хоть немного поговорим о чем-нибудь другом, а то меня, ей-богу, как в помоях выкупали.

— Давай, — охотно и весело соглашается она.

И мы говорим. Если честно, то о «другом» с ней гораздо интереснее, чем об «этом». Из сизого дыма, потерявшего свой табачный запах под натиском духов «Клема», что подарил Руте экипаж летчиков из Еревана, воз-

никают образы великих: Сартр, Тарковский, Блок, Цветаева, Булгаков, Гумилев, Мандельштам... Никаких «заморочек» в языке. И взгляд... Теперь это были глаза бедной возлюбленной Макара Девушкина, и Незнакомки, и всех вместе взятых дев монастыря Непорочного зачатия.

Выдержка изменила мне, я сорвалась: «Как же ты, такая умная-распрекрасная, можешь... с кем попола!»

— Все не с кем попола, — чуть обиделась Маргарита. — Вот, например, в прошлом году поехали мы с одной девочкой на каникулы в Таджикистан. У меня там подруга живет, намного старше меня. Говорим ей: «Нам нужны шубы, тряпки, косметика». — «Можете все получить на халяву, если не побрезгуете с этими мужиками...» Мы решили: «Ничего, не с такими спали». Сняли двоих. Один был адвокат, другой имел свое рисовое поле и продавал рис. Целый день возил нас на какой-то колымаге типа «Москвич» и обещал достать «губнушку» (он так всю косметику называл). Как я себя ни уговаривала, но этот рисовый плантатор мне все равно был противен. Хотя я там крутанула одного Ахмеда на крупную сумму и туфли. Всю добычу мы со Светой поделили. Потом отдыхали с христианами. Они щедрее. Ты спрашиваешь, как я могу? Да в такие минуты, когда предлагают джемпер из «ангоры», косметику, сапожки, думаешь: «А... а... что от тебя, убудет?» Что поделаешь — люблю тряпки, бабки, тачки...

«Среди серого соцморя»

Через женскую судьбу Маргаритиной мамы прошел единственный мужчина — Маргаритин папа. «Это уж рупь за сто!» — клянется самой святой своей клятвой девочка Рута. Я выслушиваю сказочную историю любви с несквозным концом. Знаю, что все это не легенда, правда. Я встречалась с Ириной Владимировной — преподавательницей педагогического училища одного из городов области, и с Виктором Михайловичем — инженером крупного завода. Сегодня мать Руты, красивая сорокасемилетняя женщина, большую часть жизни проводит на койке психиатрической больницы. Отец только что перенес тяжелейший инфаркт. Дочь у них одна. С самого детства она была откровенна с родителями. С матерью, как с лучшей подругой, делилась всеми своими девичьими, а после и женскими тайнами. Мать отвечала тем же. «Мама и папа знают все. Это их убивает. Жаль. Все образуется: пока все равно дальше себя не уйдешь. И нечего биться в конвульсиях по этому поводу».

Училась Маргарита в спецшколе для особо одаренных детей. Там учились все, кому было хорошо под сенью папиных имен. До 7-го класса мальчики и девочки представляли собой если не враждебные, то с трудом терпящие друг друга группировки. В 7-м пошла дружба. Вскоре она оформилась в пары, и начала набирать силу первая любовь. К концу 8-го вошли в жизнь класса «грандиозные попойки» на квартирах отлучающихся по вечерам предков. Самым «страшным сексом» были поцелуи в темных закутках и игра «в бутылочку». В 10-м переступили порог ресторана.

— Почти все боялись родителей. Я — нет. Свободно курила в своей детской, могла и выпить: никогда ничего. Поэтому женщиной я стала поздно — в 19 лет. Первого своего мальчика страшно полюбила. Он был деревенский, из Тавды, старше меня на пять лет. Очень похож на моего любимого Никиту Михалкова. Говорил, что я его умнее, что ему со мной тяжело, но все равно бил по роже, требовал бабки, уезжал к другой женщине, на такси на мои деньги, оскорблял, унижал. Кончилось все беременностью. Совершенно глупой, ведь я тогда ничего не знала, не умела. Он устроил на аборт, я была рада. Мама тоже.

В каникулы, на юге, сняла одного моряка — иностранца, с торгового флота. Там же, на юге, познакомилась с мальчиком. Славный был, мастер спорта по фехтованию. Письма писал. Тогда я еще верила, что могу выйти

замуж по любви. Надеюсь — никто не увидит, не узнает о моих заморочках: после юга — точка. Но не смогла. Знала — если мне в следующий съезд принесут в машину норковую шубу, сделаю все, что от меня потребуют. Это засасывает хуже всяких травок и колес. Как я себя оцениваю? Интеллектуальна, красива, обаятельна, загадочна. И чуточку сумасшедшая. В справедливость, добро, равенство всех перед законом и прочие добродетели — в эти байки не верю.

В волшебной десятке

В шестнадцать лет Рута вступила в ряды комсомола. «Иначе не видать тебе высшего образования», — сказал отец.

— Толпа поехала сдавать в медицинский, я с ними. Было нас восемь человек. Поступили трое. Мне пришлось вернуться в свою занюханную провинцию.

На семейном совете главное слово держала тетя: «Тебе нужен диплом, твердые деньги, потом будешь сидеть дома за мужниной спиной».

Виктор Михайлович отправился на разведку в определенный для дочери вуз. Из беседы с членами приемной комиссии любящий папа вынес главное: «Дочери необходимо приложить максимум усилий, чтобы заработать два года стажа и достать самую дефицитную в наши дни вещь — партийный билет».

Спустя пару недель, потраченных на звонки и переговоры с нужными людьми, мама провожала свое очаровательное чадо в ряды пролетариата.

— Меня устроили инструментальщицей на завод. Дали тихую комнатку, на полочках какие-то железки лежат. Сижу я в этой конуре — то сплю, то читаю. Заскочит кто-нибудь: «Дай ключ сорок на пятьдесят». — «А как он выглядит?» Засмеется, сам найдет, в журнальчике закорючит — и привет! Платили мне за это 130 рублей — так, на бантики. Тетка снова приехала: «Чем занимаешься?» — «Сижу, сплю». — «Тыходишь в бюро комсомола?» — «Нет». — «Немедленно войди!» Ну, делаю я из себя активистку...

Была у нас в цехе Наташка. Все стонала, что надоело ей взносы собирать. «А мне так хочется интересной комсомольской жизни!» — говорю ей. Она обрадовалась: «Пошли к секретарю!» Приходим. Сидим, курим. «Слушай, у нас девчонка в декрет ушла, — говорит секретарь. — Хочешь заведовать культмассовым сектором?» Как круто, думаю, ведь культработа всегда на виду. Но ломаюсь: «Справлюсь ли?» Охватила я работой мальчиков-электриков. Такая рабочая интеллигенция, кнопки на станке нажимали. «Сплавлялись» по рекам. Я в нашу многотражку статейки писала, как здорово комсомол по местам боевой и трудовой славы плоты гоняет. На самом деле весь наш сплав состоял из пары ящиков водки в природных условиях.

Был у нас в то время замечательный парторг — Колька. Сидим как-то у него в кабинете, курим. «А почему бы тебе, Рута, в партию не вступить?» Я как бы скукожилась вся, глаза поднять не смею, лепечу полуслопом: «Что вы... Я? В партию? Там же такие люди, такие чистые коммунисты...» — «Я тебя приму в партию», — говорит Колька. «А зачем?» — вопрошаю я наивно. Он в голове поскреб и вздыхает: «Разнарядка жесткая идет: один ИТР, десять рабочих. Вот мастера Мишу надо принять, а у меня не хватает одного пролетария».

Дело стало за тремя рекомендациями. От комсомола дали без проблем. Вторую попросила у технолога Нины Ивановны. Меня устраивал ее партстаж. Но она уперлась: «Только через мой труп!» Пошли еще к одному. Тоже со стажем. 15 лет. Алкаш. Его за человека-то никто не держал. «Дай характеристику, Саша». Он обалдел от такого доверия: «Коли смеяться не будет, то, че же, дам». Короче, вдруг оказалось, что все в наличии есть. А тут еще счастье подвалило — Нина Ивановна на бюллетень ушла. Тут же собрали коммунистов. Тогда единственный

раз шевельнулось во мне что-то: «Если бы знали люди правду».

В ноябре меня приняли на рабфак. Расклад был такой: 90 парней и 10 девчонок. Я опять оказалась в счастливой десятке. Теперь это число — мое заветное. Знаний при приеме с нас почти не требовали. Мне сказали: «Благодарите бога, что вы кандидат в члены партии». И я благодарна.

Благодарна девочка Рута, само собой, не богу, а тому «деловому» из партийных верхов, что придумал эту, в сущности, гибельную для партии вещь — разнарядку.

«Согласна побыть декабристкой»

Мы встретились снова через несколько дней. Завели речь про будущее.

— Ты не боишься? Пройдут не годочки, а годы, и вдруг окажется, что вся твоя жизнь — величиной с опавший лист.

— Нет, не боюсь.

В институте прошло предварительное распределение. У меня — Свердловская область. Надо думать, Сосьва или Шалья. Ну, я тащусь от такой наглости! Срочно надо замуж. Хоть на полгода. Потрудиться, конечно, можно на какой-нибудь некрутой работенке. Но не в Сосьве же!

— За кого же ты замуж собралась?

— Сейчас — за кого угодно. А потом хочу выйти нормально, чтобы не изменять своему мужу. Хочу здоровую семью, хочу ребенка. Постоянного и классного мужика. Чтобы был деловым, имел социальное положение. Лучше — ученый, кандидат наук. Хочу, чтобы водились в доме чеки, тряпки, была машина. Могу потерпеть лет пять, если увижу, что муж роет землю для того, чтобы сделать меня счастливой. Короче, согласна побыть декабристкой. Чуть-чуть.

— А вдруг на тебе, такой, никто не женится?

— Какой? Считаю, что замуж надо выходить только не девочкой. У нас что, учат грамоте секса? Разводы-то в основном из-за него! Секс — это главное.

Маргарита уверена, что ее ждет счастье. Только найти его пока не может.

Мы расстались, и я села думать, нужно ли знакомить читателя с Рутой и страшной, на взгляд всякого честного человека, историей ее жизни. Что это? Новый социальный феномен, до недавнего времени почти не замечаемый обществом? Раз так, знакомить нужно...

Можно, конечно, если не оправдать, то объяснить широкое распространение этого феномена обстоятельствами застойного времени, когда искореженная правда уродом лезла из газет, с телеэкранов, с трибун и собраний. Можно ткнуть носом папочек и мамочек в источник, сотворенный ими же, откуда они потчуют своих горячо любимых детишек отравленным пойлом. Можно направить гневный перст в сторону легкой, косметической, мясо-молочной и иной промышленности: ни хорошо поест, ни красиво одеться... Можно. И все же интересно, что удерживает массу девчонок, не менее образованных и красивых, чем Рута, от соблазна купить флакон парижских духов или пару австрийских туфель, расплатившись такой пустяковиной, как собственное тело?

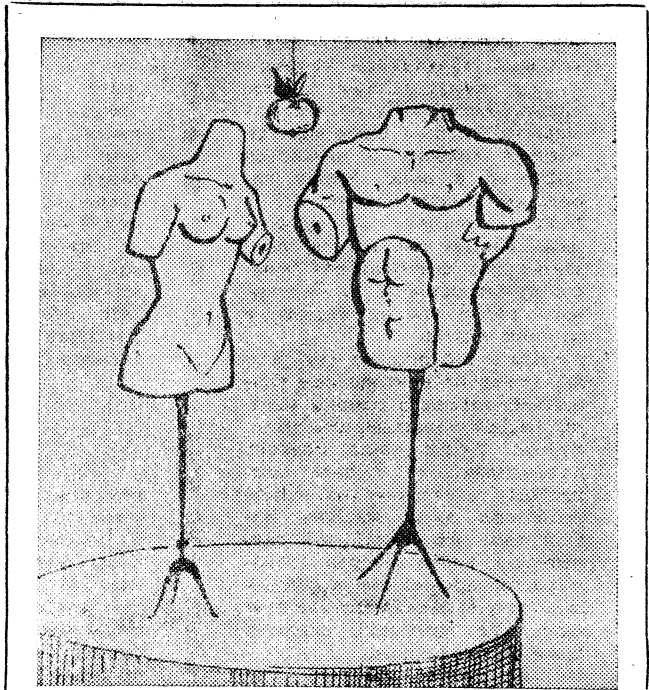
Тайна яблока

Как ни горько, немало в словах «съемной девочки» Маргариты сермяжной правды. Я опять подвожу вас к мысли, что нашим мальчикам и девочкам нужно половое воспитание. По данным Института социологических исследований АН СССР, нынешний средний возраст вступления в половую связь несовершеннолетних — 14—15 лет. Каждый третий учащийся ПТУ и каждый десятый школьник сталкивается с этой проблемой задолго до того, как приходит пора «надевать колечко на ручку».

А между тем получить по-настоящему объективную научно-познавательную информацию негде.

Как же случилось, что половое воспитание юных было отдано на откуп улицы, случайных людей? Причин достаточно. Все еще довлеет над нами христианская догматика, когда под страхом адского огня родителям запрещено передавать своим детям опыт сексуального общения. Во-вторых, мы не обладаем четким представлением о том, что такое есть половая мораль. Говорить об этом многие лета считалось моветоном. Над реалистичным подходом в этой области господствовал абстрактно-идеалистический, ханжеский. Считалось, что залог нравственности — неведение. Подвел нас этот «залог». Твердые устои при четком понимании и знании — вот что такое нравственность. Где найти древо познания? Или опять на «хате», в подвале вкушать Адаму от яблока, а Еве узнавать любовь Адама?

Так примерно обстоят сегодня дела. Могли бы хуже, да некуда. А что касается таких девочек, как «коммунист» Рута, то от стыда гореть надо тем, кто послушно подставлял ладони под каблучки ее импортных сапожек — партийным, комсомольским работникам, всем, кто прекрасно знал, что за птницу выпускают в полет, кому дают крылья. Конечно, трудно было предположить, что полетит она вниз. И все же, думаю, повезло Рутиним благодетелям, что я дала слово оставить в тайне ее фамилию.



В одном из номеров журнала мы готовы устроить встречу «читатели — сексолог». Ждем вопросов...

Нам хочется, чтобы ваши вопросы отражали направление «Уральского следыпта»: путешествия, фантастика, приключения. Как? Очень просто.

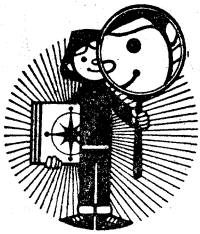
ПУТЕШЕСТВИЯ заменит нам этносексология — наука, изучающая нормы полового поведения у разных народов мира, их мудрый опыт в создании семейного очага.

ФАНТАСТИКА. Будем надеяться, что специалисты смогут ответить и на те из ваших вопросов, которые коснутся будущего секса: какие из многообразных тенденций в отношениях юношей и девушек наиболее перспективны, а какие ведут в тупик.

Ну а ПРИКЛЮЧЕНИЯ — здесь ясно каждому: в таком серьезном вопросе желательно обходиться без них.

Совет «Диалог-клуба»

Рисунок А. Грефенштейна



МИР

на ладоны

Парад молний

4 августа 1987 года в Хабаровске пошел сильный ливень. Удары молний следовали один за другим... После одного огненного разряда от хвоста линейной молнии как бы оторвался шар и медленно, без всякого шума стал спускаться к Амуру. Те, кто в это время были на набережной, утверждали, что шар был ярким, почти красным, диаметром 20—30 сантиметров. Его полет продолжался чуть больше десяти секунд.

А в это время в речной гостинице, которая располагается прямо на дебаркадере, тоже случилось ЧП. Ее постояльцы с удивлением увидели, как в полуоткрытую дверь вплыл ослепительно желтый шар. Со слабым шипением он обогнул комнату и наискосок выскочил в окно. Через несколько минут шкипер С. Г. Никулин увидел под крышей дым. Он не растерялся, приватил два огнетушителя, вместе с матросом А. В. Паречным взобрался на чердак и затушил пламя.

Но и это еще не все! В то же время на центральной улице Хабаровска, в районе магазина «Дом одежды», шел троллейбус. Вдруг из-за резкого перенапряжения в сети произошло замыкание: из пакетника под дном машины пошел дым. По счастливой случайности, мимо как раз проезжали пожарные: они в считанные минуты ликвидировали очаг огня. Его причиной, считают, тоже была молния.

...Шаровая молния — не такая уж редкая гостья в Хабаровске. Одна из них запомнилась ученым тем, что поставила типичный «эксперимент» в «чистых» водных условиях. Вода — катализатор очень слабый, поэтому молнии могут в воде не только плавать, но даже нырять и взлетать в воздух. Шаровая молния возникла на улице Пушкина, перемещалась на высоте человеческого роста по направлению к Амурскому бульвару. От нее исходил запах озона, слышались потрескивания. Неожиданно молния притормозила

возле одного из люков колодца и нырнула в него. Секунд через десять вода закипела... Учитывая количество энергии, необходимое на нагревание того колодца, ученые высчитали: шаровая молния выделила количество энергии, как при сжигании 185 килограммов бензина...

Существует мнение, что именно шаровой молнии надо приписать следы «снежного человека». Врезаясь в снег, она тормозится, с размаху придавливая в передней части или выбрасывая впереди себя два-три «пальца» (в этот момент больше похожа на перчатку, чем на шар). Потом форма несколько восстанавливается, но молния отскакивает назад, образуя «пятку» следа. Восстановившись, она совершает новый прыжок вперед — так и образуется цепочка следов «снежного человека». Правда, ученые утверждают это не совсем категорично, хотя считают, что молния перемещается по принципу реактивного эффекта.

Н. СЕМЧЕНКО

Прежде — на поезде, теперь — на лошадях

Речь идет о заброшенных железных дорогах США. Их — десятки тысяч километров. В целом они занимают площадь более 400 тысяч гектаров.

Недавно по инициативе Национальной федерации по охране живой природы и некоторых других организаций, ведающих вопросами охраны природы и отдыха людей, создана специальная фирма по превращению брошенных железных дорог (точнее — их полотна) в туристские тропы. Эти тропы предполагается использовать и для пеших походов, и для передвижения на велосипедах, и даже для езды на лошадях. Старое железнодорожное полотно, считают американцы, позволит туристам лучше познакомиться со многими районами страны.

Е. СОЛДАТКИН

В космосе — братья меньшие

Жюль Верн правильно предугадал, что первыми облетят Луну американцы. Но и великому фантасту не пришла бы мысль о том, что первыми из живых существ побывают на селеноцентрической орбите и благополучно вернутся на Землю... черепахи-пассажиры советской автоматической межпланетной станции «Зонд-5», в сентябре 1968 года — за три месяца до полета «Аполлона-8».

Человечество благодарно братьям меньшим за многие первые шаги в науке и технике, в том числе в освоении космического пространства. В историю космонавтики навеки вписано имя легендарной дворняжки Лайки, первой совершившей орбитальный полет на втором в мире искусственном спутнике Земли. Однако мало вспоминают тех собак, что еще до Лайки поднялись на ракетах в заоблачные выси. Впервые с космодрома Капустин Яр на высоту 100 километров взвились летом 1951 года (за шесть лет до запуска 2-го ИСЗ) дворняжки Дезик и Цыган. Храбрый Дезик погиб во втором полете. «Первый космонавт» Цыган остался жить в квартире академика А. А. Благонравова. Дублером Лайки была Альбина, до того уже дважды летавшая на ракете.

Животные открывали дорогу в космос и американским астронавтам. За три месяца до первого орбитального полета Дж. Гленна два витка вокруг Земли совершил на корабле «Меркурий» шимпанзе Энос. Он был одет в скафандр, по командам с Земли нажимал рычаги, получая за правильное решение из автоматической кормушки пилюли с банановым запахом. Обезьяны и позже летали в космос на исследовательских биоспутниках СССР и США, по программе «Интеркосмос». А вот первым и, кажется, до сих пор единственным котом-космонавтом стал французский мурлыка Феликс, поднявшийся 18 октября 1963 года на ракете «Вероника». За тридцать лет на космических орбитах побывали также мыши, крысы, морские свинки, рыбы, мушки-дрозофилы. Сегодня ученые всерьез разрабатывают методы разведения в космической невесомости домашних кур и кроликов — для питания экипажей постоянно действующих орбитальных станций.

С. КАЗАНЦЕВ



Александр СЕМЕНИН,
Иван БЕЛЯЕВ

Экзоты на окнах

«... Меня особенно интересует информация о комнатных растениях, особенно плодоносящих, таких, как инжир, гранат, фейхоа и другие. Очень хочется прочитать что-нибудь новое, интересное. В своей районной библиотеке я прочитал все, что о них имеется».

В. Духанин, Волгоградская обл.

Мы — горожане, живем среди шума и дыма, стекла и бетона, и душа наша просит общения с природой. Комнатные растения давно превратились в потребность для многих горожан. Да и в деревне трудно найти дом, где не выращивали хотя бы кустик герани или деревце лимона. А порой и в оранжереях не сыщешь того, что приручает у себя дома растениевод-любитель. Одни нашли свое хобби в декоративно-лиственных кустарниках и травах, другие — в суккулентах и пальмах. А есть и вовсе «узкие специалисты»: например, из кактусов они собирают только представителей рода мамиллярия, а во всем разнообразии красиво цветущих геснериевых видят для себя отраду лишь в разведении сортов узамбарской фиалки.

Микрооранжереи можно встретить сегодня в студенческом общежитии, на полярной станции, пограничной заставе и даже на корабле.

Рискнем утверждать, что в ближайшем будущем разведение растений в комнатах приобретет для нас новое значение — станет средством активного творческого познания природы.

Разумеется, в комнатном растениеводстве важен не урожай, а само приобщение человека к миру живого. Хотелось бы помочь советом тем людям, которые решили посвятить часть своего досуга интересному занятию — разведению тропических и субтропических фруктов в комнате, рассказать о приемах и правилах ухода за растениями, познакомить с некоторыми особенностями их жизни.

Инжир

Чего только нет на кавказском базаре в сентябре! И почти у каждого продавца — инжир. Похожие на раздувшиеся груши плоды его то красно-бурые, то желтые, а иногда почти черные, искрятся на солнце зернистой мякотью. Инжира много, ведь Кавказ — родина этого растения. Раскидистые деревца или кустарники с широкими лопастными листьями, поднимающиеся порой на 15-метровую высоту, встречаются почти в каждом саду.

Прогуливаясь в окрестностях Сочи или Сухуми, мы найдем и одичавший «беспризорный» инжир. Семена его разносятся птицами, поэтому где только он не уживается! И на отвесных скалах, и на стенах, и на крышах старых домов. И даже на морском берегу, где постоянно принимает соленый «душ». Жизнестойкость инжира удивительна. Среди уральских растений лишь клены и от-

Александр Семенин, аспирант, сотрудник Ботанического сада Уральского отделения АН СССР.

Иван Беляев, по профессии горный инженер, по давнему увлечению травник-любитель, автор многих статей в нашем журнале.

части березы могут похвастать такой же неприязательностью в выборе места.

Человек далекий от ботаники немало бы поудивлялся, наблюдая, как весной, едва одевшись ажурной листвой, инжир уже обзаводится... плодами. Где же у инжира цветки? Дерево словно считает излишним тратить свои силы на эту роскошь и сразу образует на толстых ветвях плоды. Так кажется, по крайней мере. И даже знаменитый шведский ботаник К. Линней, занимавшийся систематикой растений, был озадачен: что же это за растение?

Сегодня секрет инжира раскрыт. Известно, что у некоторых растений плоды образуются без оплодотворения (такое явление называют партеногенезом). Просто завязь разрастается и превращается в плод. Семян в нем, разумеется, нет. Вспомните, как вы ели банан или ананас — семена в этих плодах не попадают никогда. Но даже партенокарпические плоды развиваются из цветков (точнее, из завязей пестиков). Так значит, инжир — исключение из правила, и может без них обходиться?

Оказывается, нет. Цветки у инжира все-таки есть. Но образуются они... внутри плода. Вернее, внутри своеобразного соцветия, которое развивается и постепенно превращается в сладкий плод.

И еще интересная деталь. На верхушке грушевидного соцветия имеется маленькое отверстие, которое сразу и не разглядишь. Как выяснилось, оно совсем бесполезно. Через него внутрь соцветия проникают маленькие мушки — бластофаги. Они-то и опыляют цветки.

Плоды инжира не относят к первоклассным фруктам. Не сравнятся им ни с восхитительно ароматными апельсинами, ни с нежными, тающими во рту грушами. И все же есть инжир приятно. Сладкая мякоть плода чуть приторна, но хорошо освежает, а кроме того, очень полезна. Содержит и всевозможные витамины, и пектиновые вещества, и биологически ценные элементы — железо и калий. Вот почему аппетитные смоквы, как еще называют иногда плоды инжира, полезны при малокровии, туберкулезе, а также при желудочных и простудных заболеваниях.

На Кавказе нам доводилось наблюдать, как местные жители борются с простудой. Они варят инжир с молоком. И мало того, что замечательным вкусом обладает горячий напиток — поистине в эликсир здоровья превращается это нехитрое варево! Выпьешь стакан инжирного «коктейля» — на следующий день простуды как не бывало. Дело в том, что пектиновые вещества смокв обладают, как выражаются врачи, обволакивающими и бактерицидными свойствами. А в смеси с горячим молоком их благотворное действие словно удваивается.

Издавна любили и почитали инжир. И сегодня любят. А потому желанием заполучить и вырастить это растение горят не только садоводы юга, но и мы, жители северных районов страны. Но уживается ли смоквица в комнатах? Оказывается, да! Среди прочих плодовых растений инжир — почти идеальная комнатная культура. Он не боится сухого воздуха помещений; зимой, когда климат комнат становится неблагоприятным, предусмотрительно сбрасывает листья; рано начинает плодоносить (при размножении черенками — порой на первом году жизни). Агротехника растения проста, но требует знания некоторых тонкостей.

Лучше всего размножить инжир черенками. Для этого берутся полуодревесневшие отрезки веток длиной 15—20 см с двумя-тремя листьями. Листья инжира очень крупные, а потому их сильно укорачивают. Перед посадкой

черенков в хорошо промытый крупнозернистый песок (или в смесь песка с легкой листовой землей) рекомендуются на 10—15 часов поставить их нижними срезами в стакан с теплой водой. Часто любители комнатного плодородства успешно укореняют инжир и в воде. Конечно, можно использовать и такой способ. Но для инжира он менее желателен, так как после переноса укоренившихся черенков в почвенную смесь нередко случаи их гибели. Да и в самой воде черенки часто загнивают.

Листья инжира — сухие, тонкие и широкие — очень чутко реагируют на изменение влажности почвы. Однако взрослые растения, благодаря мощно развитой корневой системе, легко переносят и сухость, и сильную жару. С глубоких слоев почвы получает инжир воду. И совершенно справедливо утверждение о том, что «любит он голову держать на солнце, а ноги в воде». Но черенки лишены этого «насоса». Их следует сразу накрыть стеклянной банкой или полиэтиленовой пленкой — так можно сохранить высокую влажность воздуха. Черенки смовоницы, посаженные в ящики и ничем не прикрытые, могут лишиться своих листьев, простояв всего 2—3 часа. Образование корней в оптимальных условиях происходит у них за 3—4 недели.

Укоренившиеся черенки уже имеют, как правило, мощную корневую систему, поэтому садят их сразу в 0,7-литровые и даже литровые горшки. Вот какую почвенную смесь рекомендует для укоренившихся черенков инжира большой знаток южной флоры С. Г. Сааков: 2 ч. дерновой земли, 1 ч. перегнойной, 1 ч. песка. Как видим, даже молодым растениям нужен довольно питательный почвенный субстрат. А при последующих пересадках доля дерновой земли еще более возрастает.

Не будем забывать, что инжир — это крупный кустарник. И чтобы многие годы иметь возможность выращивать его в комнате, с самого начала надо позаботиться о правильном формировании кроны.

Когда черенок укоренится и достигнет высоты 20—25 см, его прищипывают. Это стимулирует образование боковых побегов. Лучше всего, если на растении развивается по 3—4 таких побега, выполняющих роль скелетных ветвей. Как только они достигнут длины 20 см, их также прищипывают.

И затем каждый год (до начала вегетации) побеги инжира подрезают. В начале лета, когда разовьются листья и созреют плоды весеннего урожая (на прошлогодних побегах), для стимулирования образования новых ветвей прищипывают все главные побеги. Из пазушных почек разовьются боковые ветви. На них-то и появятся плоды следующего — осеннего — урожая. Двукратное плодonoшение — одна из самых ценных биологических особенностей инжира, выдающих его южное происхождение. Осенний урожай гораздо обильнее весеннего, да и плоды, выросшие за лето, несколько крупнее. Зреют они постепенно, один за другим, так что собирают урожай выборочно.

Разумеется, растения, которые для развития плодов требуют перекрестного опыления, мало пригодны для выращивания в комнатах. Здесь нужны самоопыляющиеся или партенокарпические сорта, такие, как «Сочинский-7», «Сеянец Оглоблина», «Подарок Октябрю», «Кадота» и другие.

В разведении инжира в комнате уральские садоводы уже добились некоторых успехов. Не редкость, когда 3—4-летняя смовоница, выращенная из черенка, приносит до 40 плодов в год. Их вес (в зависимости от сорта) варьируется от 30 до 80 г.

Хотя и лучше других плодовых культур приспособлен инжир к климату комнат, начинающие растениеводы нередко допускают серьезные ошибки при его выращивании. Один из самых грубых промахов заключается в том, что растению не дают отдыхать. Обычно в комнате инжир в ноябре сбрасывает листья. Чтобы это произошло, в октябре сокращают полив и переносит растение в более прохладное место. Уже в январе инжир пробуждается и распускает почки. Однако некоторые «заботливые» садо-

воды обильно поливают его и зимой. В результате смовоница не сбрасывает все листья, а продолжает расти и истощается. Если растение упорно «отказывается отдыхать», надо все-таки сократить полив, а затем оборвать оставшиеся листья. Оптимальная температура воздуха в это время +3—5°C.

Еще больший вред причиняют инжиру те, кто пытается стимулировать зимой развитие «ленивого» растения — подкармливают его всевозможными удобрениями. Как если бы уставшему человеку предложили не отдохнуть, а плотно поесть и повеселиться! Пользы от такого усердия, естественно, никакой. Как все листопадные деревья, подкармливают инжир лишь в период активного роста, который в комнатах продолжается с конца января по ноябрь.

Получив черенок или саженец инжира, можно выращивать его всю жизнь. Растение это доживает в природе до 200—300 лет, да и в комнатных условиях достаточно долговечно. Только сами вырастив смовоницу, вы сможете оценить вкус ее плодов. Уж слишком они мягки и совершенно нетранспортабельны, а потому к нам, северянам, почти никогда не поступают...

Кофейное дерево

«Он черен, как дьявол, горяч, как ад!» «Он чист, как ангел, и нежен, как любовь...» «Он вреден народу, поднимает его на буйство и смуту». «Нет, он просветляет ум и прививает логическое мышление, с ним вместе идет революция и прогресс. Он помог вырастить великих ученых и поэтов. Людей, подружившихся с ним, отличает сила духа и непокорность участи рабов...»

О какой неведомой силе идет здесь речь? Эти слова... о кофе.

Третью населения Земли ежедневно пьет его. Горячий и охлажденный. С лимоном и по-восточному. С молоком и черный, как деготь. Миллионы людей не мыслят себе начало нового дня без этого бодрящего ароматного напитка.

Португальский сержант Пальета привез в 1727 году в порт Белен пять мешков кофейных зерен (так кофе появилось в Бразилии). Казалось бы, ничего особенного — на корабле можно довести и больше! Но то, что совершил Пальета, предстало не просто торговой операцией. То был смелый поступок, если не сказать больше. Ведь за вывоз кофейных зерен из Французской Гвианы (а именно отсюда пришел корабль) полагалась смертная казнь.

Спустя многие годы в удивливой прохладной Австрии, где кофейные деревья уживаются лишь в оранжереях, Пальете поставят памятник.

Турецкий поэт Фахретдин написал восторженный гимн «Победоносный кофе». Героиня острожножетной «Кофейной кантаты» И.-С. Баха Лизетта восхваляет «черного дьявола» с искренним и сильным чувством: «Ах, как кофе люблю я, кофе милей поцелуя!» А знаменитому Бальзаку он нужен был для творчества: «Кофе проникает в ваш желудок, и организм ваш тотчас оживает; мысли приходят в движение...»

Есть ли еще растения, живой интерес к которым бы так же долговременен, что и к кофейному дереву? Изобретатель растворимого кофе швейцарский химик М. Моргенталлер не без иронии говорил, что предпочитает своему детству... обыкновенную воду. Но почему? Растворимый кофе так удобен, его можно моментально приготовить, да и вкус и тонизирующие свойства напитка сохраняются! Исчезает лишь «душа» — приготавливая такой кофе, теряют почти 90 процентов ароматических веществ!

У немногих людей кофе вызывает антипатию. Большинство — безоговорочно нравятся. И во все времена пытались найти ему замену, каких кофейных суррогатов только не испробовали! Желуди дуба и зерна ячменя, корни одуванчика и цикория. А также семена сорго, мушмулы, каштана... И даже листья свеклы... Увы, как подсахаренная водичка не похожа на фруктовый нектар, так и эти суррогаты были далеки от кофе.

Поэтому выращивают его повсюду, где только позволяют климатические условия. Разводят на Яве и Мадагаскаре, сажают на родине — в Эфиопии, и, словно ребенка пестуя, растят в Бразилии. «Генерал кофе» — уважительно и с нежностью отзываются о нем бразильцы.

В нашей стране нет тропиков. Только участки с субтропическим климатом узкими полосами прижились к побережью Черного моря, но и там не выживает кофейное дерево. Порой и в оранжереях ему «достается». Задержится зимой ртутный столбик на отметке $+10^{\circ}\text{C}$ недели две-три — занедужит нежное растение, покроется коричневыми и бурными пятнами грибковых болезней. Гораздо лучше чувствует оно себя в... комнатах, где температура воздуха в течение года колеблется незначительно. Поэтому любители экзотических плодовых растений смело могут осваивать культуру кофейного дерева. Она не сложна: нет надобности прививать растение, заниматься обрезкой — крона дерева от природы удивительно красива и симметрична. А размножают его самым простым и доступным способом — семенами.

Итак, вы приобрели семена. Как можно скорее посеять! Ведь всхожесть их сохраняется считанные месяцы. А пролежат семена год — погибнут все.

В оранжереях Ботанического сада УрО АН СССР проращивали семена кофейного дерева (в смеси торфа и песка 1:1). В одном варианте сеяли свежесобранные семена, в другом — хранившиеся после сбора два месяца в сухом месте. 100-процентную всхожесть (уникальный случай!) дали свежие семена, и лишь на 70 процентов проросли семена, выдержавшие двухмесячное хранение.

Оптимальная температура для прорастания семян — $+26-28^{\circ}\text{C}$. Будет она чуть ниже — позднее появятся всходы. Посев лучше всего проводить в конце января, тогда, появившись в марте, всходы попадают в благоприятные условия светового режима (на широте г. Свердловска продолжительность естественной освещенности в это время приближается к 12 часам). Для посева используют пикировочные плоские или ящички: заделывают семена в почву на глубину 1 см с расстоянием между ними 2 см.

В июне, когда у сеянцев появятся две пары настоящих листьев, их пересаживают в 0,7-литровые горшки. Для посадки молодых растений можно взять примерно такую почвенную смесь: 3 ч. листовой земли, 2 ч. торфа, 1 ч. песка. Если почва будет менее кислая, то нарушится нормальное усвоение ряда питательных элементов — это приведет к хлорозу листьев и инфекционным болезням.

В сентябре проводят вторую пересадку — в двухлитровые горшки, в почвенную смесь следующего состава: 3 ч. листовой земли, 2 ч. дерновой, 2 ч. торфа, 1 ч. песка. К концу года высота молодых растений обычно достигает 22—27 см.

Зима — самая ответственная пора в содержании комнатных растений. Микроклимат наших квартир в это время — слабая освещенность, высокая температура и сухость воздуха — крайне неблагоприятны для развития многих из них. Кофейное дерево — «дитя» влажных тропиков и зимой нуждается лишь в незначительном понижении температуры (до $+16-18^{\circ}\text{C}$). Особо следует позаботиться, чтобы потоки холодного воздуха не проникали к растениям через щели окон. В противном случае происходит резкое понижение температуры почвы. Возникает парадоксальное явление: в комнате тепло и сухо, но почва холодная и постоянно влажная, а при таких условиях корни очень слабо впитывают почвенные растворы. Растение засыхает, хотя «едва не купается в воде». Явление это называется физиологической сухостью и наблюдается в тех случаях, когда температура почвы намного ниже температуры воздуха. Чтобы его избежать, старайтесь утеплить горшок и поместить его на непроводящую холод (например, деревянную) подставку. Обязательно приобретите почвенный термометр — он подскажет вам, когда растению угрожает физиологическая сухость.

Зимой полив сокращают. Хотя кофейное дерево и не

сбрасывает листья, но в ноябре — январе почти не растет. На его родине очень влажно, а в зимнее время в комнатах относительная влажность воздуха нередко понижается до 20 процентов. Поэтому очень полезны частые опрыскивания растений теплой водой.

На втором году жизни, в августе — сентябре, растения пересаживают в 4—5-литровые горшки. Состав почвенной смеси: 3 ч. дерновой земли, 3 ч. листовой, 2 ч. торфа, 1 ч. песка.

К концу второго года в зависимости от условий выращивания высота растений достигает 50—60 см. Ветки отходят от ствола правильными симметричными рядами, и их длина почти одинакова.

На третьем году жизни, в мае — июне, кофейное дерево зацветает. Чтобы цветение было обильнее, в марте — апреле, а также при появлении бутонов в составе подкормок увеличивается доля калия.

Цветки белые, до 3 см в диаметре, с приятным жасминовым ароматом. Они появляются пучками (по 3—7 в каждом) в пазухах листьев. Живет каждый цветок обычно один день, но ему на смену появляется новый, так что весь период цветения продолжается порой до августа. Бывают случаи, когда зацветает кофейное дерево и зимой.

Хотя кофейное дерево и самоопыляющееся растение, для лучшего завязывания плодов полезно несколько раз опылить рыльца пестиков пылью с других цветков. Зреют плоды около года и созревают неодновременно. Наибольшие урожаи растения дают в возрасте от 6 до 30 лет. При хорошем уходе с одного взрослого экземпляра можно собрать за год до 1 кг плодов (в комнатных условиях). Своим видом они напоминают небольшую красную вишню, однако есть и такие сорта, мякоть плодов у которых желтая и белая.

Ананас

В тропиках ананас — фрукт известный. Разводят его в Индии и Китае, в Гане и Конго, на юге США и на Кубе... И больше всего на Гавайях — затерянные в Тихом океане острова эти производят треть всей мировой продукции ананасов.

В СССР, да и в другие районы умеренного пояса, удаленные от «ананасовых центров», поступают лишь наиболее транспортабельные, а значит, мелкоплодные и не самые вкусные сорта. Вес такого плода едва превышает килограмм, а поверхность напоминает чешуйчатый покров крупной шишки хвойного дерева. Но затокам-то известно, какими бывают ананасы! Есть сорта, чьи плоды «потянут» не на привычные 1—2 кг, а на 5—8 и даже 15 кг! Отличаются они и вкусом, и ароматом. И что ни сорт, то особый цвет мякоти: белый и желтый, красноватый и коричневый, оранжевый и почти черный.

Окультурили ананас американские индейцы. Они разводили его возле хижин и на открытых местах, обрабатываемых после выкорчевки леса, и называли растение коротко и нежно — «нана». Покорители Нового Света это название сочли неблагозвучным, и появился «ананас».

Небольшое бесстебельное растение с сизоватыми листьями полюбилось европейцам. Походило оно на столетник, только было сухое и колючее. Уже в 1535 году испанский художник Увьедо увековечил для потомков ананас, написав первый его «портрет». Постепенно растение распространилось в оранжереях европейских стран, попало в Индию и Африку — и прижилось там на плантациях. Добрался заморский фрукт и до нас. Но и по сей день остается диковинкой. Что делать, если даже благодатный наш юг для ананаса слишком холоден! Только в оранжереях и комнатах и можем вырастить мы это растение. В газетах изредка появляются заметки о том, что в суровом уральском крае зреют ананасы на окнах искусных садоводов.

Любитель экзотических плодовых растений Евгений Петрович Абрамычев, выпускник УПИ 1934 года, работал инженером, затем — архитектором. За плечами долгая

жизнь. Многие пришлось повидать и пережить, но всю жизнь согревала ему душу давняя увлеченность: с юности и по сей день выращивает Евгений Петрович диковинные растения. Растил прежде в саду, теперь разводит в комнатах. И чем только не увлекался: кактусы и розы, азалии и пальмы, пассифлора и инжир... Однажды зацвел в комнате душистый миндаль. Прижился в саду обреченный, казалось бы, на верную гибель персик — и прожил таки несколько лет! Даже экзотическое томатное дерево выстояло одну уральскую зиму!

Его сегодняшнее увлечение — цитрусовые. Разводит и мандарины, и грейпфруты, и лимоны. Одно растение словно «дерево дружбы» — привиты на нем черенки самых разных видов цитрусовых.

Среди этого разнообразия в квартире Евгения Петровича разглядели мы и знакомое растение с колючими сизоватыми листьями. Комната, где оно растет, просторная, но выходит на запад и не очень светлая. Однако ананас плодоносит — дает хотя и маленькие, но сладкие и очень ароматные плоды.

— С чего же все началось? — спросили мы Евгения Петровича.

— Купил несколько плодов в магазине. Кажется, их привезли с Кубы. Постарался выбрать те из них, на которых листья были посвежее. Как и полагается, срезал розетку листьев вместе с верхушкой плода толщиной сантиметра в три. Ну, подсушил дня два, чтобы срез после посадки не загнил. Затем взял сухой мох сфагнум, смешал его с равным количеством песка и в эту смесь посадил ананас. Вернее, своеобразный черенок этого растения. Поливал очень осторожно: часто, но небольшими дозами. Подиэтиленовой пленкой или банкой ананас не прикрывал. Недели через три появились корешки. Когда растение укоренилось, пересадил его в питательную почву — большая ее часть состояла из плодородной садовой земли, а также небольшого количества песка, сухого навоза и торфа. Получившаяся почвенная смесь была достаточно рыхлой, питательной и немного кислой — то, что, по моему, и надо ананасу. Подкармливал плодородно-ягодной смесью марки «5-А», рижским полным минеральным удобрением, настоем коровяка и при любой возможности — кровяной водой.

— Часто приходится слышать, что у многих любителей ананас хорошо укореняется, растет, но приходит зима, и растение погибает. Чаще всего загнивает от неправильного полива. К сожалению, в руководствах по уходу за ананасом встречаются противоречивые данные: в одних утверждается, что содержать его в зимнее время надо при температуре +12—14 °С, в других — при +18 °С. Точно так же и с поливом: есть авторы, которые советуют поливать часто, но умеренно, 2—3 раза в неделю. Иные, напротив, настаивают на поливах столь же редких, что и для кактусов. По их мнению, поливать ананасы в зимнее время следует два раза в месяц, но достаточно обильно. А каково ваше мнение?

— Зимой я поливаю ананас через день. Правда, небольшими дозами. Редкие поливы растений в комнате, по моему, таят в себе большую опасность. В это время воздух очень сух, а температура его обычно выше +20 °С. Растение много испаряет, поэтому надолго лишать его влаги не стоит. Иное дело, если температура воздуха ниже +15 °С, а комната светлая, — тогда, действительно, поливать надо реже.

Зацвел ананас через два года после укоренения верхушки плода: соцветие — компактная головка мелких красных цветков, — продолжает Евгений Петрович. — Затем, когда цветки подвяли, стал разрастаться цветочнос. Не прошло и двух месяцев, как плод ананаса созрел! Был он небольшим (размером 10×9 см), но очень ароматным и сладким. Сейчас ананас вновь начал расти. После того как я срезал плод, ранка вскоре зарубцевалась, а по бокам от нее быстро стали подниматься две листовые розетки. Это корневые отпрыски, которыми ананас также размножается...

Опыт Евгения Петровича лишний раз показал: вы-

растить даже самое капризное растение — дело возможное, если заниматься этим с любовью.

Любители экзотических плодовых растений из многих городов нашей области уже нашли свой подход к агротехнике комнатного ананаса. «Специалисты» появились в Серове и Нижнем Тагиле, Асбесте и Краснотурьинске. А вот свердловчанка В. Кузнецова, после того как созрел первый ананас, выращенный из верхушки купленного плода, срезала с него листовую розетку и вновь посадила ее. Ждать нового урожая пришлось, правда, долго — почти десять лет. Плод оказался поменьше, чем в первый раз, и не таким ароматным и сладким. Но интерес-то весь заключался в том, что «родитель» его вырос на Урале! Быть может, поддерживая и продолжая из поколения в поколение жизнь ананаса, привезенного с далекой южной стороны, нам и удастся когда-нибудь вывести настоящий уральский ананас — хорошо приспособленный к условиям комнат, регулярно плодоносящий и не такой прихотливый.

Семян у культурных сортов не бывает, поэтому размножают ананасы почти исключительно верхушками плода. Однако те, у кого уже есть свои растения, могут размножать их и корневыми отпрысками, которые образуются после среза плода. Не рекомендуется только укоренять стеблевые розетки листьев (они вырастают на боковых ответвлениях цветоносов) — растения из них получаются слабыми и дают неполноценные плоды.

Осторожный и правильный полив — едва ли не главная предпосылка успешного роста ананаса. Поливать желательно только теплой и мягкой водой. Хорошо, если есть запасы дождевой или снеговой воды. Но смягчить можно и обычную водопроводную воду — достаточно в ведре растворить около 100 граммов печной золы.

Очень важно вовремя пересадить растение. При пересадке подбирают горшок, лишь немного превышающий по своим размерам предыдущий. Ананас «не любит», чтобы в горшке было много почвенного пространства, непролизованного корнями. Приостанавливается в росте, а нередко и загнивает.

Ананас достаточно светолюбив и засухоустойчив. На летние месяцы, когда минует угроза ночных заморозков, вынесите его на балкон. Но приучать растение к прямым солнечным лучам надо постепенно, в несколько приемов. Сначала поставьте горшок на затененный пол балкона, затем через несколько дней поместите его на более освещенное место и наконец — на самое светлое. Не следует ставить ананас на перила балкона — вода, скопившаяся после дождя в листовой розетке, может вызвать отмирание точки роста.

Как ни странно, но прихотливый, «капризный» ананас, каким его принято считать, является среди комнатных растений едва ли не самым устойчивым к различным болезням и вредителям.

Когда заходит речь об ананасе, мы сразу представляем себе лакомый плод. Или сок и компот из него. Или еще что-нибудь такое же ароматное и сладкое. Например, ананасовое масло, которое добавляют в различные напитки и в замечательные по вкусу конфеты «монпансье». Но слышали ли вы когда-нибудь об «ананасовых» рубашках? Оказывается, жесткие колючие листья этого растения содержат очень прочное и гибкое волокно. Оно походит на шелковую нить, а сама «текстильная» разновидность ананаса на Филиппинах и в Китае получила распространение под названием «шелковая трава».

И еще об одной разновидности ананаса. На сей раз — декоративной. Есть очень эффектные растения, у которых листья окаймлены желтовато-белыми и красными полосками. Такой «разодетый» ананас сразу и не узнаешь. Даже ботаники порой ошибаются, принимая его издали за агаву или пестролистную бильбергию. Плоды у таких красавцев, правда, не самого лучшего качества.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ





Декоративная пестролистная разновидность ананаса

Соцветие ананаса

Цветущая ветвь кофейного дерева

Плодоносящее кофейное дерево

Инжир



Фото Александра Семенова



УРАЛЬСКИЙ ЭВКЛАЗ

В ФОНДАХ СВЕРДЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННОГО МУЗЕЯ ХРАНИТСЯ КРИСТАЛЛ ЭВКЛАЗА.

Голубовато-зеленые и желто-голубые, прозрачные, с сильным блеском эвклазы очень красивы. Академик А. Е. Ферсман писал: «Эвклаз является высококачественным драгоценным камнем, соединяя красоту окраски, ясность тона и чистоту с действительной редкостью, заставляющей держать на учете каждый найденный... эвклаз».

Как и другие драгоценные камни, эвклаз издавна использовался в ювелирном деле. Для огранки брали только бразильские и уральские камни. Им придавалась бриллиантовая (для бесцветных кристаллов) или изумрудная (для синих и зеленых) огранка.

Однако из-за хрупкости применение эвклаза в ювелирном деле очень ограничено. На Урале эвклаз издавна так и называют — «хрупик». «Эвклазис» в переводе с греческого означает «хорошо расщепляющийся». Оттого-то найденные кристаллы зачастую имеют трещины, а грани их окатанные и обколотые. При обработке минерал легко расщепляется, выход ограненного камня невелик. Поэтому элегантные кристаллы эвклаза чаще всего украшают минералогические коллекции.

Видимая окраска кристалла зависит от того, как расположен он перед зрителем: если рассматривать его по вертикали, он — синевато-зеленый, а по горизонтали — травяно-зеленый.

Интерес минералогов всего мира к эвклазам всегда был велик. Впервые эвклаз был описан в 1702 году. Об уральских эвклазах, найденных в прошлом веке, рассказал Н. И. Кокшаров в своих «Материалах для минералогии России». Сообщения о находках редких кристаллов, их подробное описание публиковалось в других изданиях. Так, в «Записках Уральского общества любителей естествознания» в 1912 году появилась статья действительного члена УОЛЕ А. Л. Воробьева «Четыре новых эвклаза», где описаны крупные (высотой до 3—4 см) кристаллы. В другом выпуске «Записок...» в 1915 году была опубликована статья почетного члена УОЛЕ профессора С. В. Глинки «Еще об одном эвклазе», в которой дано подробное описание бразильского кристалла.

ЕДИНСТВЕННОЕ РУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЭВКЛАЗА — КОЧКАРСКИЕ ПЕСКИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ. Там на реке Санарке при промывке золотоносных песков их и находили. Н. И. Кокшаров в «Материалах для минералогии России» указывал, что эвклаз «попадает в окрестностях реки Санарки на приисках купца Бакакина».

КРИСТАЛЛ ЭВКЛАЗА, ХРАНЯЩИЙСЯ В КОЛЛЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО МУЗЕЯ, БЫЛ ПОДАРЕН МУЗЕЮ УОЛЕ ЖИТЕЛЕМ ЕКАТЕРИНБУРГА В. И. ЛИПИНЫМ. НАЙДЕН ОН БЫЛ ТАКЖЕ НА РЕКЕ САНАРКЕ, ЛЕТ СТО НАЗАД...

ОЛЬГА ДАШЕВСКАЯ

Фото Игоря Горячева